

Annals of the
American Republics

Annotation

«Аббату Куаньяру было не свойственно чувство преклонения. Природа отказала ему в нем, а сам он не сделал ничего, чтобы его приобрести. Он опасался, превознося одних, унижить других, и его всеобъемлющее милосердие одинаково осеняло и смиренных и гордецов, Правда, оно простиралось с большей заботливостью на пострадавших, на жертвы, но и сами палачи казались ему слишком презренными, чтобы внушать к себе ненависть. Он не желал им зла, он только жалел их за то, что в них столько злобы.»

- [Суждения господина Жерома Куаньяра](#)
 - [Аббат Жером Куаньяр](#)
 - [Суждения господина Жерома Куаньяра](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [XXII](#)
 - [Комментарии](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)

[Все книги автора](#)
[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Суждения господина Жерома Куаньяра

Аббат Жером Куаньяр

Октаву Мирбо

Мне нет надобности описывать здесь жизнь аббата Жерома Куаньяра, профессора красноречия коллежа в Бове, библиотекаря епископа Сеэзского, Sagiensis episcopi bibliothecarius solertissimus, как гласит надпись на его надгробном камне, позднее писца при кладбище св. Иннокентия, и, наконец, хранителя королевской библиотеки Астаракианы, утрата которой для нас — непоправимое бедствие. Он погиб по дороге в Лион от руки еврей-кабалиста по имени Мозайд (Judaea manu nefandissima), оставив потомству целый ряд неоконченных трудов и память о чудесных душевных беседах. Все обстоятельства его удивительной жизни и трагической кончины сообщены потомству его учеником Жаком Менетрие, прозванным Турнеброшем по той причине, что он был сыном содержателя харчевни на улице св. Иакова. Сей Турнеброш питал чувство глубокого и пылкого восхищения к тому, кого называл своим добрым учителем. «Это был, — говорил Турнеброш, — один из самых приятных умов, какие когда-либо украшали нашу землю». С правдивой простотой и непритязательностью он написал воспоминания об аббате Куаньяре, который оживает перед нами в этом творении, как Сократ в Меморабилиях Ксенофонта^[1].

Бережно, тщательно и любовно создал он портрет, полный жизни, проникнутый пламенной преданностью. Его произведение напоминает те портреты Эразма кисти Гольбейна, которые можно увидеть в Лувре, в Базельском музее и в Гэмптон-Корте, и тончайшим изяществом коих никогда не устаешь любоваться. Словом, он оставил нам подлинный шедевр.

Конечно, можно удивляться, почему он не позаботился опубликовать его. А ведь он сам мог бы выпустить его в свет, так как впоследствии стал книготорговцем, преемником г-на Блезю, державшего на улице св. Иакова книжную лавку «Под образом св. Екатерины». Быть может, оттого, что он проводил свои дни, зарывшись в книги, он опасался, что его листки только увеличат чудовищную грудку испачканной черной краской бумаги, которая истлевет в безвестности у букинистов. Мы разделяем его опасения, когда, бродя по набережной, видим грошовые прилавки, где солнце и дождь постепенно обращают в прах страницы, написанные для бессмертия. Как те умильные черепа, которые Боссюэ посылал настоятелю Траппы^[2],

дабы на них отдыхал взор отшельника, так зрелище этих прилавков наводит писателя на мысль о тщете писания. Со своей стороны могу признаться, что всякий раз, проходя между Королевским и Новым мостом, я глубоко чувствовал эту тщету. Я склонен думать, что ученик аббата Куаньяра не напечатал свое произведение потому, что, воспитанный столь достойным учителем, здраво судил о писательской славе и знал ей цену, то есть понимал, что она ничего не стоит. Он знал, что она ненадежна, изменчива, подвержена всяким превратностям и зависит от множества обстоятельств, которые сами по себе ничтожны и жалки. Наблюдая невежество, злобу и несовершенство своих современников, он не видел оснований надеяться, что их потомство сразу станет просвещенным, справедливым и совершенным. Он полагал только, что будущее, чуждое нашим распрям, отнесется к нам с равнодушием, которое заменит справедливость. Мы можем быть почти уверены, что всех нас, великих и малых, оно объединит в забвении и даст нам вкусить мирное равенство безвестности. Но, даже если паче чаяния эта надежда обманет нас и в грядущих поколениях сохранится какое-то воспоминание о наших именах и писаниях, то можно заранее сказать, что их представление о нашем образе мыслей будет всецело зависеть от тех хитроумных измышлений и лжемудрствований, которые одни только и сохраняют в веках память о гениальном творении. Долговечность великих произведений достигается жалкими умствованиями ученых педантов, которые своим напыщенным вздором дают пищу для забавных острот талантливым людям. Я осмеливаюсь утверждать, что ни один стих из «Илиады» и «Божественной Комедии» не сохранил в нашем понимании того смысла, какой был придан ему первоначально. Жить — значит меняться, и посмертная жизнь наших мыслей, запечатленных пером, подчиняется тому же закону: они продолжают свое существование, лишь непрерывно меняясь и становясь все более и более непохожими на то, какими они были, когда появились на свет, зародившись у нас в душе. То, чем будут восхищаться в нас грядущие поколения, нам совершенно чуждо.

Наверно, Жак Турнеброш, известный своим простодушием, и не задавался всеми этими вопросами по поводу маленькой книжки, вышедшей из-под его пера. Мы были бы несправедливы к нему, если бы позволили себе заподозрить его в таком самомнении.

Мне думается, я знаю его. Я размышлял над его книгой. Во всем, что он говорит, как и во всем, о чем он умалчивает, сказывается удивительная скромность его души. А если он все-таки сознавал свою даровитость, он так же хорошо сознавал, что именно это люди меньше всего склонны

прощать другим; людям, которые на виду, прощают и низость души и коварство; мирятся с тем, что они трусливы и злы, и не так уже завидуют их богатству, когда видят, что оно ничем не заслужено. Людей посредственных охотно превозносят и возвеличивают окружающие их посредственности, которые прославляют в них самих себя. Слава заурядного человека никого не задевает. Она скорее даже тайно льстит толпе; но в таланте есть нечто дерзновенное, за что воздают глухой ненавистью и клеветой. Если Жак Турнеброш предусмотрительно отказался от горькой чести раздражать своим красноречивым пером толпу глупцов и злоязычников, можно только восхищаться его здравым смыслом и следует признать его достойным учеником мудрого наставника, хорошо знавшего людей. Как бы то ни было, рукопись Жака Турнеброша, оставшись неизданной, затерялась и пребывала в неизвестности более ста лет. На мою долю выпало редкое счастье обрести ее в лавчонке у антиквара; хозяин, торгующий на бульваре Монпарнас всяким старьем, выставил в грязном окне кресты Лилии, медали св. Елены и Июльские ордена^[3], не задумываясь над тем, какой печальный урок примиренчества преподносит он людям. Эта рукопись была опубликована моими стараниями в 1893 году под заглавием «Харчевня королевы Гусиные Лапы» (один томик в 18-ю долю листа большого формата). Отсылаю к ней читателя, который неожиданно для себя обнаружит там гораздо больше нового, чем, казалось бы, можно ждать от старой книги. Но сейчас речь идет не об этом произведении.

Жак Турнеброш не удовольствовался тем, что запечатлел поступки и изречения своего учителя в связанном рассказе. Он восстановил в памяти и записал несколько бесед и рассуждений аббата Куаньяра, которые не вошли в мемуары (как следовало бы по-настоящему назвать «Харчевню королевы Гусиные Лапы»), а составили небольшую тетрадь, попавшую мне в руки вместе с прочими его бумагами.

Эту тетрадь я и публикую ныне под заглавием «Суждения господина Жерома Куаньяра». Добрый и благосклонный прием, оказанный читателями вышедшей недавно книге Жака Турнеброша, воодушевляет меня выпустить теперь и эти беседы, где бывший библиотекарь г-на епископа Сеэзского вновь обнаруживает и свою снисходительную мудрость и тот своеобразный, полный великодушия скептицизм, что отличает его суждения о людях, проникнутые мягким презрением и благожелательностью. Я не могу считать себя ответственным за мысли, которые высказывает этот философ по самым разнообразным вопросам политики и морали; но, как издатель, я считаю себя обязанным представить

взгляды моего автора в наиболее благоприятном освещении. Его независимый ум презирал избитые истины и никогда не присоединялся без критики к общему мнению, за исключением лишь того, что касалось католической веры, — в этом он был непоколебим. Во всем остальном он не боялся спорить с веком. И уже одно это внушает к нему уважение. Мы должны быть благодарны мыслителям, которые боролись с предрассудками. Но насколько легче прославлять этих людей, нежели подражать им. Предрассудки, как облака на небе, исчезают и снова появляются с той же неустанной подвижностью. Им свойственно повергать в трепет, прежде чем вызывать ненависть, и немного найдется людей, которые не испытали на себе власть суеверий своего века и осмеливались глядеть прямо в глаза тому, на что толпа страшится поднять взор. Аббат Куаньяр, при своем крайне скромном положении, был человеком независимым, и этого, я полагаю, достаточно, чтобы поставить его выше какого-нибудь Боссюэ и всяких прославленных особ, которые, занимая подобающее им место, блистают традиционной пышностью обычаев и верований.

Но если мы признаем, что аббат Куаньяр жил, как свободный человек, не поработенный заблуждениями толпы, что никакие призраки наших увлечений и наших страхов не имели над ним ни малейшей власти, мы должны согласиться также, что этот замечательный ум отличался исключительно своеобразными взглядами на природу и на общество; и если он не поразил и не пленил человечество широкой и стройной системой мышления, то лишь потому, что ему недоставало ловкости или просто желания почаще подпирать истины софизмами, как своего рода цементной прокладкой. Ибо только таким образом и воздвигаются великие философские здания: для того, чтобы они могли держаться, их скрепляют известью софистики. Дух системы, или, если угодно, искусство симметричных построений, был ему чужд. Не будь у него этого недостатка, он явился бы перед нами тем, чем был на самом деле, — иначе говоря, мудрейшим из моралистов, чудесно сочетающим в себе Эпикура и святого Франциска Ассизского.

На мой взгляд, эти двое — лучшие друзья страждущего человечества, повстречавшиеся ему в его бесконечных блужданиях. Эпикур освободил нас от пустых страхов и научил соразмерять идею счастья с жалкой человеческой природой и ее слабыми силами. Добрый святой Франциск, более нежный и чувственный, приобщил нас к блаженству через духовное созерцание и хотел, чтобы мы, следуя его примеру, познали радость, погрузившись в бездну восторженного одиночества. Оба они творили

добро, один — разрушая обманывающие нас иллюзии, другой — создавая иллюзии, от которых не пробуждаются.

Но не следует ничего преувеличивать! Аббат Куаньяр, конечно, не может быть уподоблен ни своими делами, ни даже мыслью самому смелому из мудрецов и самому пылкому из святых. Он открывал истины, но не бросался в них как в бездну. В самых своих дерзновенных исследованиях он сохранял невозмутимость человека, который вышел спокойно прогуляться. Он распространял на себя то всеобъемлющее презрение, какое ему внушали люди. Ему не доставало драгоценной иллюзии, которая поддерживала Бэкона и Декарта и позволяла им, не верившим ни в кого, верить в самих себя. Он сомневался в истине, которую носил в себе, и, не мудрствуя, расточал сокровища своего ума. Он был лишен самоуверенности, присущей всем творцам идей: а ведь это и позволяет им считать себя превыше самых великих гениев. Такой недостаток не прощается, ибо слава приходит только к тем, кто ее домогается. У аббата Куаньяра это было не только слабостью, но и непоследовательностью. Коль скоро он доходил до крайнего предела философических дерзаний, ему надлежало, не колеблясь, провозгласить себя первым из людей. Он же был простосердечен и чист душой, и неспособность его ума ставить себя превыше всего нанесла ему непоправимый вред. Но, быть может, именно за это я и люблю его.

Я не побоюсь сказать, что аббат Куаньяр, философ и христианин, бесподобно сочетает в себе эпикуреизм, ограждающий нас от страданий, и святую простоту, дающую радость.

Замечательно, что он не только принял идею бога в том виде, как она была внушена ему католической верой, но даже пытался обосновать ее доводами разума. Он не подражал практичной ловкости заправских деистов, которые приспособливают бога для своих надобностей, превращая его в моралиста, филантропа и скромника, и таким образом пребывают с ним в полном согласии. Тесные отношения, которые у них устанавливаются с богом, придают их писаниям немалый авторитет, а им самим доставляют почет и уважение в обществе. И вот этот правящий, умеренный, спокойный бог, чуждый всякого фанатизма, бог со светскими связями, покровительствует им в разных собраниях, салонах и академиях. Но аббат Куаньяр отнюдь не допускал мысли, что всевышний может представлять собою нечто столь полезное. Однако, полагая, что нельзя постигнуть вселенную иначе, как в категориях разума, и что мир следует считать познаваемым, даже если поставить себе целью доказать его нелепость, он считал первопричиной всего некое разумное начало, которое

и называл богом, оставляя за этим понятием всю его бесконечную растяжимость, а во всем прочем полагаясь на теологию, каковая, как известно, трактует непознаваемое с самой скрупулезной точностью.

Эта ограничительная ссылка, определяющая пределы его познания, была для него счастливой находкой, ибо, как я полагаю, именно она удержала его от соблазна попасться на приманку той или иной завлекательной философской системы и уберегла его от тех мышеловок, в которые мигом попадаются вольнодумцы. Обжившись в просторном старом капкане, он обнаружил в нем немало лазеек, через которые мог познавать мир и наблюдать природу. Я не разделяю его религиозных убеждений и считаю, что он обманывался, так же как, на радость себе или на горе, обманывалось уже столько людских поколений. Но мне кажется, что старые ошибки не столь досаждают, как новые, и если уж нам суждены заблуждения, то уж лучше держаться тех, что стерлись от времени.

Во всяком случае несомненно, что аббат Куаньяр, признавая христианские и католические догматы, не боялся делать из них весьма своеобразные выводы. На корнях правоверия буйная душа его расцвела изумительным цветом эпикуреизма и смирения. Я уже говорил, что он постоянно стремился разогнать все эти ночные призраки, пустые страхи или, как он выражался, всю эту готическую чертовщину, которая превращает благочестивую жизнь честного горожанина в какой-то пошлый повседневный шабаш. Наши современные богословы обвиняли аббата Куаньяра в том, что он, уповая на спасение, впал в крайности, которые граничат с безнравственностью. Я натолкнулся на эти упреки и в сочинении одного прославленного философа^[4]. Не знаю, действительно ли аббат Куаньяр чрезмерно уповал на милость господню. Но можно не сомневаться, что он понимал благодать в самом широком, естественном смысле, в силу чего мир в его глазах менее напоминал пустыню Фиваидскую, нежели сады Эпикура. Он прогуливался в этих садах с тем дерзким простодушием, которое является отличительной чертой его характера и основой его учения.

Никогда еще мысль человеческая не проявляла себя столь дерзновенно и вместе с тем столь миролюбиво и не смягчала презрение свое такой кротостью. В его поучениях вольность философов-циников сочетается с чистотой первых монахов обители священной Порциункулы^[5]. Он презирал людей, но презирал их с любовью. Он пытался внушить им, что если в них и заложена крупница чего-либо великого, так это лишь их способность страдать, а посемя они не могут вместить в себя ничего

полезного или прекрасного, кроме сострадания, и поскольку им дано только желать и страдать, они должны воспитывать в себе добродетели снисходительные и улаживающие. Все это привело его к заключению, что гордость является источником величайших зол и единственным преступлением против природы.

Надо думать, люди и в самом деле становятся несчастными из-за преувеличенного представления о себе самих и своих ближних, а будь у них более скромное, более правильное представление о природе человеческой, они были бы добрее и к другим и к себе. Эта благожелательность к людям и побуждала аббата Куаньяра принижать ближних своих в их образе мыслей; их познаниях, их философии, их установлениях. Он стремился показать им, что их глупая природа не изобрела и не выдумала ничего такого, что стоило бы горячо оспаривать или защищать, и что если бы они сознавали, сколь грубы и шатки их величайшие творения, как, например, законы и государства, то могли бы только играть в войну, забавляясь, как дети, которые возводят замки из песка на берегу моря.

Поэтому не следует ни удивляться, ни возмущаться по поводу того, что он принижал все те идеи, с помощью которых человек стремится обрести славу и почести в ущерб собственному спокойствию. Величие законов не потрясло его прозорливый дух, и он сожалел, что несчастные люди взваливают на себя столько разных обязательств, ни смысла, ни происхождения которых обычно невозможно доискаться. Все принципы казались ему одинаково спорными. Это привело его к убеждению, что граждане лишь потому и обрекают на позор и бесчестие множество своих ближних, чтобы, сравнивая себя с ними, наслаждаться своей добропорядочностью. Поэтому он предпочитал дурное общество хорошему, по примеру того, кто жил среди мытарей и блудниц^[6]. Он сохранял в этой среде чистоту сердца, дар сострадания и сокровища милосердия. Я не буду здесь говорить о его деяниях, описанных в «Харчевне королевы Гусиные Лапы». Я не задавался вопросом, был ли он, как говаривали о г-же де Муши, достойнее своей жизни. Мы не вполне распоряжаемся своими поступками, они меньше зависят от нас, нежели от случая. Они внушаются нам разными обстоятельствами, и мы не всегда заслуживаем того, что выпадает на нашу долю. Наша неуловимая мысль — вот в сущности и все, чем мы по-настоящему владеем. Отсюда-то и проистекает суетность людских суждений. Тем не менее я с удовольствием отмечаю, что люди тонкого ума все без исключения почитали г-на аббата Куаньяра приятным и любезным человеком. И одни только фарисеи могут

не видеть в нем прекрасное творение божие! А теперь, после того как я это сказал, поспешу вернуться к его воззрениям, ибо они-то и представляют собою суть книги.

Аббату Куаньяру было не свойственно чувство преклонения. Природа отказала ему в нем, а сам он не сделал ничего, чтобы его приобрести. Он опасался, превознося одних, унижить других, и его всеобъемлющее милосердие одинаково осеняло и смиренных и гордецов, Правда, оно простиралось с большей заботливостью на пострадавших, на жертвы, но и сами палачи казались ему слишком презренными, чтобы внушать к себе ненависть. Он не желал им зла, он только жалел их за то, что в них столько злобы.

Он не верил, что какие-либо кары, узаконенные или произвольные, приводят к чему-нибудь иному, кроме умножения зла. Он не находил удовольствия ни в ехидных выпадах, продиктованных жаждой мести, ни в величественной жестокости законов, а если ему случалось улыбнуться, когда при нем били полицейского, то это был просто отклик плоти и крови да врожденная веселость,

Короче говоря, у него было весьма простое и ясное представление о зле. Он всецело приписывал его человеческой природе и естественным побуждениям организма, не усложняя этого представления всяческими предрассудками, которые в сводах законов приобретают искусственную прочность. Я уже говорил, что он не создал никакой системы, ибо не был склонен обходить трудности при помощи софизмов. Очевидно, с первой же трудностью он столкнулся в своих размышлениях о том, какими средствами можно утвердить счастье или хотя бы мир на земле. Он был убежден, что человек по природе своей — очень злое животное и человеческие общества потому так скверны, что люди созидают их согласно своим склонностям. Поэтому он и не верил, что может получиться что-нибудь хорошее, если человек вернется к природе. Сомневаюсь, изменил ли бы он свое мнение, если бы дожил до более поздней поры и мог бы прочесть «Эмиля»^[7]. К тому времени, когда г-н Жером Куаньяр скончался, Жан-Жак еще не успел потрясти мир пламенным красноречием самой неподдельной чувствительности, которая уживалась у него с самой извращенной логикой. Он был тогда всего лишь малолетним бродягой, которому на скамейках пустынного парка в Лионе встречались, на его беду, совсем не такие аббаты, как г-н Жером Куаньяр. Можно пожалеть, что г-н Куаньяр, который знал всяких людей, не столкнулся случайно с юным приятелем г-жи де Варенс^[8]. Но, пожалуй, это была бы всего лишь

забавная сценка, картина в романтическом духе: Жан-Жаку вряд ли пришлось бы по вкусу скептическая мудрость нашего философа. Трудно вообразить что-либо менее похожее на философию Руссо, чем философия аббата Куаньяра. Его философия проникнута доброжелательной иронией. Она снисходительна и покладиста. Основываясь на человеческой немощности, она имеет под собой твердую опору. А философии Руссо недостает счастливого сомнения и легкой усмешки. И так как она зиждется на мнимом фундаменте естественного добра, якобы присущего роду человеческому, то оказывается в очень неудобном положении и не замечает, насколько оно смешно. Это — философия людей, которые никогда не смеялись. Ее замешательство выражается в дурном настроении. Она не умеет быть обходительной. Все это было бы еще терпимо, но она тащит человека назад к обезьяне^[9] и неосновательно возмущается, когда видит, что обезьяна лишена добродетели. Поэтому такая философия бессмысленна и жестока. И это стало ясно для всех, когда государственные деятели вздумали применить «Общественный договор» к наилучшей из республик.^[10]

Робеспьер чтит память Руссо. Аббат Куаньяр показался бы ему дурным человеком. Я бы не упомянул об этом, если бы Робеспьер был извергом. Напротив, это был человек великого ума и неподкупной честности. К несчастью, он был оптимистом и верил в добродетель. Вопреки своим самым благим намерениям государственные деятели подобного склада приносят наибольший вред. Если уж человек берется управлять людьми, он не должен упускать из виду, что они — просто гадкие обезьяны. Только при этом условии можно быть гуманным и доброжелательным политическим деятелем. Безумие Революции заключалось в том, что она хотела утвердить на земле добродетель. А когда людей хотят сделать добрыми, умными, свободными, умеренными, великодушными, то неизбежно приходят к тому, что жаждут перебить их всех до одного. Робеспьер верил в добродетель — и создал террор. Марат верил в справедливость — и требовал двести тысяч голов. Пожалуй, среди мыслителей XVIII века аббат Куаньяр больше всех расходился в своих принципах с принципами Революции. Он не подписался бы ни под единой строкой из «Декларации прав человека»^[11] по причине того чрезмерного и несправедливого различия, которое проводится в ней между человеком и гориллой.

На прошлой неделе меня посетил один мой приятель-анархист, который удостаивает меня своей дружбы и которого я люблю потому, что,

пока его еще не допустили к управлению страной, он сохранил много наивного простодушия. Он только потому и жаждет взорвать все, что считает людей хорошими и добродетельными от природы. Он полагает, что если их освободить от собственности, избавить от законов, с них сразу же слетит эгоизм и порочность. К этой дикой жестокости его привел самый что ни на есть мягкий оптимизм. Вся его беда и преступление в том, что он, обреченный быть поваром, обладает нездешней душой, которая вполне подошла бы для золотого века. Это своего рода Жан-Жак, очень простой и очень честный, который не растерялся бы при виде г-жи Удето и не размяк бы от благородной учтивости маршала Люксембургского^[12]. Душевная чистота не позволяет ему отступить от своей логики и делает его поистине страшным. Он рассуждает лучше всякого министра, но исходит из нелепых предпосылок. Он не верит в первородный грех, а ведь на этом прочном и незыблемом догмате можно было построить все, что ни вздумается.

Как жаль, что вы не встретились с ним у меня в кабинете, господин аббат Куаньяр, вы доказали бы ему ошибочность его учения! Вы не стали бы толковать с этим благородным утопистом о благах цивилизации и интересах государства. Вы-то понимали, что все это чепуха, и неприлично угощать ею бедняков; вы-то понимали, что общественный порядок — это просто организованное насилие и что всякий сам может судить, какой от него толк. Но вы нарисовали бы ему подлинную и страшную картину того естественного строя, который он жаждет восстановить; вы показали бы ему в той идиллии, о которой он мечтает, бесконечное множество кровавых и трагических междоусобиц, а в его блаженной анархии — зачатки чудовищной тирании.

Теперь пора перейти к взглядам аббата Куаньяра, которые он высказывал в кабачке «Малютка Бахус», рассуждая о правительствах и народах. Он не питал уважения ни к общественным собраниям, ни к властям предрержащим. Он даже подвергал сомнению силу святого миропомазания, — в его время такой же священный принцип государства, как в наши дни всеобщее избирательное право. Подобное свободомыслие, которое в те времена, наверно, возмутило всех французов, теперь уже нас не корбит. Но оправдывать горячность его высказываний злоупотреблениями старого режима — значит плохо понимать нашего философа. Аббат Куаньяр не видел большого различия между образом правления, именуемым самодержавным, и теми, что именуются свободными, и мы можем предположить, что, доживи он до наших дней, он сохранил бы немалую долю того благородного негодования, которым было

преисполнено его сердце.

Поскольку он всегда добирался до самых основ, он несомненно обнаружил бы суетность наших установлений. Я сужу об этом по одному из его высказываний, которое дошло до нас. «При народовластии, — говорил аббат Куаньяр, — люди подчинены своей собственной воле, а это — тяжкое рабство. В действительности своя воля не менее враждебна народу, чем воля монарха. Ибо общая воля присутствует очень мало или вовсе не присутствует в отдельном человеке, тогда как гнет ее ощущается каждым полностью. А всеобщее избирательное право — это такая же приманка для простаков, как тот голубь, что принес в клюве святое миро. Власть народа, так же как и власть монарха, опирается на выдумки и изворачивается как умеет. Все дело в том, чтобы заставить поверить в эти выдумки и извернуться половчее».

Это рассуждение позволяет предположить, что и в наши дни аббат Куаньяр сохранил бы то же насмешливое и гордое свободомыслие, которым он украсил душу свою во времена королей. Однако он никогда не стал бы революционером. Для этого ему недоставало иллюзий, и он не считал, что государственный строй должен быть ниспровергнут чем-либо иным, кроме тех слепых и глухих сил, медлительных и неодолимых, которые сокрушают все. Он полагал, что тот или иной народ в то или иное время может управляться только одним определенным образом по той причине, что нации суть тела и отправления их зависят от устройства организма и состояния органов, то есть от страны и населяющего ее народа, а никак не от государственного строя, который подгоняется к народу, как платье подгоняется к фигуре человека.

«Беда в том, — говорил он, — что с народами вечно та же история, что с арлекинами и паяцами в ярмарочных балаганах. Их ветхая одежда всегда или чересчур широка, или слишком обужена, нескладна, смешна, изъедена молью, вся в пятнах в кишит паразитами. Ее можно еще кое-как привести в порядок, если осторожно вытрясти, заштопать тут и там, а если нужно — пройтись легонько ножницами, дабы избежать лишних затрат на приобретение другой, такой же скверной; не следует упрямо сохранять одежду, когда из нее уже выросли, когда тело с возрастом приобрело другие формы».

Отсюда видно, что аббат Куаньяр признавал порядок наряду с прогрессом и в сущности был не плохим гражданином. Он никогда не подстрекал к мятежу и предпочитал, чтобы заведенные порядки изнашивались и приходили в негодность сами собой, а не опрокидывались и ниспровергались сокрушительными ударами. Он постоянно внушал

своим ученикам, что самые суровые законы чудесным образом сглаживаются от употребления и что куда вернее положиться на милосердие времени, нежели на людское милосердие. Что же касается возможности перекроить смаху беспорядочное нагромождение законов, на это он не возлагал никаких надежд, да и не стремился к этому, ибо не очень-то полагался на благодетельные результаты скороспелого законодательства, Жак Турнеброш ивой раз спрашивал своего наставника, не опасается ли он, как бы его критическая философия, задевающая основу необходимых учреждений, которые он сам же почитает таковыми, не сокрушила раньше времени то, что надлежит сохранить.

— Зачем же, — говорил его верный ученик, — зачем же, о лучший из учителей, обращать во прах основы права, судопроизводства, законов и вообще всех установлений гражданских и военных, коль скоро вы сами признаете, что необходимы и право, и суд, и армия, и блюстители порядка, и стражники?

— Сын мой! — отвечал г-н аббат Куаньяр. — Я всегда замечал, что бедствия людские проистекают из предрассудков подобно тому, как пауки и скорпионы появляются из мглы погребов и сырости огородов. Недурно пройтись иногда скребком и метлой по темным углам, недурно также пошаркать мотыгой по стенам погреба и по забору сада, чтобы пугнуть всю эту нечисть и дать обвалиться тому, что уже готово обрушиться.

— Я бы рад согласиться с этим, — отвечал кроткий Турнеброш, — но когда вы сокрушите все устои, о учитель, что же останется вместо них?

На это учитель отвечал так:

— Когда все ложные устои рухнут, останется общество, ибо оно зиждется на необходимости, чьи законы, более древние, чем Сатурн, будут править и после того, как Прометей свергнет Юпитера с его трона.

Со времени, когда г-н аббат Куаньяр вел эту беседу, Прометей уже несколько раз свергал Юпитера, и предсказания мудреца оправдались с такой точностью, что ныне уже сомневаются, не восседает ли древний Юпитер по-прежнему на своем престоле, — до такой степени новый строй напоминает старый. Многие даже вовсе отрицают пришествие Титана. На его груди, говорят они, не видно следов той раны, которую нанес ему орел несправедливости, терзая его сердце своим клювом, а она должна кровоточить вечно. Ему неведомы муки и мятежная горечь изгнания. Это не тот бог-труженик, который был нам обещан и которого мы так ждали. Это все тот же тучный Юпитер с древнего осмеянного Олимпа. О, когда же явится к нам мощный друг человечества, даятель огня, Титан, все еще прикованный к скале своей? Грозный гул доносится с горы, — это он,

наконец, расправляет свои истерзанные плечи над скалой произвола, и мы издали чувствуем на себе его пламенное дыхание.

Чуждый всяких дел, г-н Куаньяр был склонен к отвлеченной мысли и охотно прибегал к широким обобщениям. Эта склонность его ума, которая могла повредить ему в глазах современников, теперь, по истечении полутора десятков лет, придает его рассуждениям известную ценность и несомненную полезность. Мы можем по ним научиться лучше судить о наших современных нравах и распознавать то, что в них есть дурного.

Несправедливость, глупость, жестокость не поражают никого, когда они вошли в обычай. Мы видим все это у наших предков, но не видим у себя. А поскольку в истории прошлого нет ни одной эпохи, когда бы человек не представал перед нами вздорным, несправедливым и жестоким, было бы просто чудом, если бы наш век, по счастливому исключению, оказался избавленным от глупости, коварства и жестокости. Суждения г-на аббата Куаньяра могли бы помочь нам потребовать отчета у своей совести, если бы мы не уподобились тем идолам, у которых очи не видят и уши не слышат. Достаточно нам было бы проявить немного доброй воли и беспристрастия, и мы очень скоро убедились бы, что наши своды законов — это гнездилища несправедливостей, что в наших нравах мы сохраняем унаследованную нами жестокость, алчность и гордыню, что мы почитаем одно только богатство и совсем не уважаем труд; установившийся у нас порядок вещей предстал бы перед нами таким, каков он на самом деле, — убогим, преходящим порядком, который справедливостью самого хода вещей, за отсутствием людской справедливости, осужден на гибель и уже начинает разрушаться. Наши богачи оказались бы в наших глазах столь же безмозглыми, как тот майский жук, который продолжает глотать древесный лист, хотя жучок, проникший в его тело, уже пожирает его внутренности. Мы не позволили бы усыплять себя плоской и лживой превыспренней болтовней наших государственных деятелей; нам показались бы жалкими наши экономисты, препирающиеся между собой о стоимости обстановки в доме, объятom пожаром. В беседах аббата Куаньяра мы видим пророческое презренье к великим принципам нашей Революции и к демократическим правам, именем которых мы вот уже сто лет, прибегая к всевозможным насилиям и захватам, создаем пеструю вереницу рожденных мятежами правительств, сами же при этом без малейшей иронии осуждаем мятежи. Если бы мы позволили себе чуть-чуть посмеяться над этими нелепостями, которые казались величественными и нередко оказывались кровавыми! если бы мы, приглядевшись, обнаружили, что современные предрассудки, точь-в-точь как и предрассудки давних

дней, приводят к тем же результатам, уродливым или смешным, если бы мы научились судить друг о друге с благожелательным скептицизмом, то бесконечные распри в самой прекрасной стране мира несколько поутихли бы, а воззрения г-на аббата Куаньяра были бы достойной лептой на благо человечества.

Анатоль Франс

Суждения господина Жерома Куаньяра

I

Правители

В тот день после обеда г-н аббат Жером Куаньяр зашел по своему обыкновению в книжную лавку г-на Блезю «Под образом св. Екатерины» на улице св. Иакова. Увидев на полке сочинения Жана Расина, он взял один из томов и начал небрежно его перелистывать.

— Сей поэт был не лишен таланта, — сказал он нам, — и если бы он додумался до того, чтобы писать свои трагедии латинскими стихами, ему была бы честь и хвала, в особенности за его «Гофолию», из которой видно, что он недурно разбирался в политике^[13]. Корнель в сравнении с ним пустой фразер. Эта трагедия, изображающая воцарение Иоаса, показывает нам некоторые тайные пружины, от действия коих возникают и распадаются государства. И надо полагать, господин Расин обладал той проницательностью ума, каковую надо ценить превыше всех напыщенных красот поэзии и красноречия, представляющих собой просто-напросто искусные ухищрения ораторов для развлечения зевак. Возвеличивать человека — свойство слабого ума, пребывающего в заблуждении касательно истинной природы адамова племени, которое по существу своему ничтожно и достойно жалости. Я сказал бы, что человек нелепое животное, и воздерживаюсь от этого только потому, что господь наш Иисус Христос пролил за него свою бесценную кровь. Человеческое благородство зиждется исключительно на этом непостижимом таинстве, а сами по себе смертные, и малые и большие, просто отвратительные, дикие звери.

Господин Роман вошел в лавку как раз в ту минуту, когда мой добрый учитель произносил последние слова.

— Так, так, господин аббат! — вскричал сей просвещенный муж. — Вы забываете, что эти отвратительные, дикие звери подчинены, по крайней мере в Европе, превосходному управлению и что такие государства, как французское королевство или голландская республика, весьма далеки от дикости и грубости, которые вас так оскорбляют.

Мой добрый учитель поставил на место том Расина и возразил г-ну Роману со своей обычной учтивостью:

— Я готов признать, сударь, что поступки государственных деятелей приобретают известную стройность и ясность в творениях философов, кои о них трактуют, и в вашем сочинении «О монархии» меня глубоко

восхищают связность и последовательность идей. Но разрешите мне, сударь, воздать честь вам одному за те превосходные рассуждения, которые вы приписываете великим политикам прошлых и нынешних дней. Они не обладали умом, коим вы их наделяете; эти прославленные люди, которые якобы управляли миром, сами были всего лишь жалкой игрушкой в руках природы и случая. Они не возвышались над человеческой глупостью и, по сути говоря, были всего лишь блистательными ничтожествами.

Господин Роман, нетерпеливо слушавший эту речь, схватил старый атлас и начал размахивать им, производя сильный шум, который смешивался с его зычным голосом.

— Какое ослепление! — вскричал он. — Как? Отрицать деятельность великих правителей, великих граждан! Неужели вы до такой степени неосведомлены в истории и не видите, что люди, подобные Цезарю, Ришелье, Кромвелю, месили народ, как горшечник месит глину? Неужели вы не видите, что государство в их руках подобно часам в руках часовщика?

— Нет, отнюдь не вижу, — возразил мой добрый учитель. — За те пятьдесят лет, что я живу на свете, я имел возможность наблюдать, как в этой стране много раз менялось правительство, и это никак не отражалось на жизненных условиях людей, если не считать того неощутимого прогресса, который нимало не зависит от человеческой воли. Из этого я заключаю, что в сущности почти безразлично, тем ли, или другим способом нами управляют, и что важность и внушительность министрам придает только их одежда да кареты.

— И вы можете говорить так, — воскликнул г-н Роман, — чуть ли не на другой день после кончины министра^[14], который некогда вершил дела государства, а ныне, после долгой опалы, скончался в то самое время, когда власть и почет снова возвратились к нему? По тому, какой шум вызвала кончина этого человека, вы можете судить о влиянии его деятельности. Оно надолго переживет его.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — этот министр был честный человек, рачительный и прилежный, и о нем, как о господине Вобане^[15], можно сказать, что он обладал слишком большой учтивостью, чтобы выставлять ее напоказ, ибо он никогда не старался кому-либо понравиться. Я считаю его особенно достойным похвалы за то, что, оставаясь на государственном посту, он совершенствовал себя, в противность многим другим, кои развращаются на службе. Это был человек сильный духом, с глубоким сознанием величия своей страны. И

еще я хвалю его за то, что он спокойно нес на своих могучих плечах ненависть торгашей и мелкой знати. Даже его враги втайне питали к нему уважение. Но что он сделал такого значительного, сударь, и на каком основании вы считаете его чем-то иным, а не игрушкой ветров, бушевавших кругом него? Иезуиты, которых он изгнал, снова вернулись, малая религиозная война, которую он разжег, дабы потешить народ, угасла, и после празднества остался лишь смрадный каркас дрянного фейерверка. Я готов согласиться, что у него был дар развлекать, или, вернее, отвлекать народ. Его сторонники, которых ему благодаря случайности и разным уловкам удалось сплотить вокруг себя, не постеснялись еще при его жизни присвоить себе другое имя и сменить вместе с именем и своего вождя, не изменяя программы. Так его клика, продолжая приспособляться к обстоятельствам, осталась в этом верна своему учителю и самой себе. Ужели, вы считаете, что подобные деяния поражают своим величием?

— Деяния поистине великолепные! — отвечал г-н Роман. — И даже если бы этот министр ограничился лишь тем, что вызволил искусство управления из дебрей метафизики и заставил его служить насущным нуждам, я за одно это почитал бы его достойным всяческих похвал. Вы говорите, что он нашел себе приверженцев благодаря случайности да уловкам. А что еще нужно, чтобы успешно управлять людскими делами, как не умение пользоваться благоприятным случаем и прибегать к полезным уловкам? Так он и поступал или по крайней мере поступал бы, если бы трусливая неустойчивость друзей и коварная дерзость противников не были ему постоянной помехой. Но он выбился из сил в тщетных попытках усмирить врагов и укрепить сторонников. Ему недоставало двух необходимых орудий — времени и людей, — дабы утвердить свой благодетельный деспотизм. Но во всяком случае он разработал превосходные проекты внутренней политики. А что касается внешней, вы не должны забывать, что он подарил своей стране обширные и богатые владения. И мы должны быть ему тем более благодарны, что он совершил эти счастливые завоевания один, вопреки воле парламента, от коего зависел.

— Сударь, — отвечал мой добрый учитель, — он проявил настойчивость и смекалку в колониальных делах, но, пожалуй, не больше, чем любой горожанин, приобретающий участок земли. Но что мне всегда претит в морских операциях, так это вошедшее ныне в привычку обращение европейцев с народами Африки и Америки. Белые, едва только они сталкиваются с желтыми или черными, почитают себя вынужденными истреблять их. С дикарями расправляются посредством самого

изоощренного дикарства. Все колониальные экспедиции заканчиваются подобными крайностями. Я не отрицаю, что испанцы, голландцы и англичане достигли таким способом известных преимуществ; но обычно в эти крупные и жестокие авантюры пускаются на риск, на удачу. Что значит разум и воля одного человека для экспедиций, в коих заинтересованы торговля, земледелие, судоходство и все зависит от несметного множества маленьких людей. Роль министра в подобных делах крайне ничтожна, и если она представляется нам сколько-нибудь значительной, то лишь потому, что ум наш, напичканный мифологией, стремится дать наименование и облик всем тайным силам природы. Что нового внес ваш министр в колониальную политику, чего бы не знали финикийцы еще во времена Кадма?^[16] При этих словах г-н Роман выронил из рук атлас, а книгопродавец тихонько подошел и поднял его.

— Господин аббат, я с прискорбием убеждаюсь, что вы софист, — сказал г-н Роман. — Ибо только софист может припутать Кадма и финикийцев к колониальным завоеваниям покойного министра. Вы не можете отрицать, что эти завоевания были делом его рук, и вы недостойно приплетаете сюда этого Кадма, чтобы сбить нас с толку.

— Сударь, — отвечал аббат, — оставим в покое Кадма, ежели он вас раздражает; я хочу только сказать, что министр играет ничтожную роль в собственных начинаниях и поэтому не заслуживает ни славы, ни осуждения. Я хочу сказать, что, если в жалкой комедии жизни и кажется со стороны, будто монархи повелевают, а народы послушно выполняют их волю, так это всего-навсего игра, пустая видимость, на самом же деле теми и другими управляет незримая сила.

II

Святой Авраамий

В тот летний вечер, когда уже стемнело и вокруг фонаря «Малютки Бахуса» плясала роем мошकारа, г-н аббат Куаньяр наслаждался прохладой на паперти храма св. Бенедикта Увечного. Он, как обычно, предавался размышлениям, когда подошла Катрина и села рядом с ним на каменную скамью. Мой добрый учитель любил воздавать хвалу господу в его творениях. Ему доставляло удовольствие смотреть на эту пригожую девушку, а так как он обладал умом веселым и цветистым, то стал говорить ей приятные слова. Он похвалил ее за то, что она умница и умна не только своим язычком, но и грудка у нее умная и все прочие статьи, а улыбается она не только устами и щечками, но всеми ямочками и прелестными изгибами своего тела; и потому-то так несносны скрывающие ее одежды, что они не позволяют видеть, как она смеется вся.

— Раз уж нам все равно положено грешить на этой земле, — говорил он, — и никто, кроме тех, что пребывают в гордыне, не может почитать себя непогрешимым, я хотел бы, милочка, лишиться господней благодати возле вас, если, конечно, на то будет ваша добрая воля. Для меня в этом было бы два неоценимых преимущества: во-первых, я согрешил бы с редким удовольствием и с несказанным наслаждением, во-вторых, могущество ваших чар было бы мне оправданием, ибо несомненно в Книге Суда написано, что прелести ваши неотразимы. И сие должно быть принято во внимание. Бывают неразумные люди, которые предаются блуду с женщинами некрасивыми и плохо сложенными. Поступая таким образом, эти несчастные рискуют погубить свою душу, ибо они грешат ради того, чтобы согрешить, и, усердствуя во грехе, творят зло. Тогда как такая прельстительная кожа, как у вас, Катрина, является оправданием пред очами всевышнего. Ваши прелести чудеснейшим образом смягчают вину, ибо она, будучи невольной, становится простительной. Скажу без утайки, милочка, возле вас я чувствую, как божья благодать покидает меня и стремительно уносится ввысь. Вот сейчас, когда я говорю с вами, она уже почти исчезла, от нее осталась только крохотная беленькая точка вон над теми крышами, где коты на карнизах предаются любви с яростным визгом и детскими воплями, меж тем как луна бесстыдно восседает на дымовой трубе. Все, что открыто моему взору в вашей особе, Катрина, волнует меня, а то, чего я не вижу, волнует еще более.

Слушая эти слова, Катрина опустила глаза и уставилась на свои колени, а потом украдкой скользнула блестящим взором по лицу аббата Куаньяра. И нежнейшим голосом сказала:

— Я вижу, вы желаете мне добра, господин Жером, так пообещайте мне сделать то, о чем я вас попрошу; я буду вам за это так благодарна!

Мой добрый учитель пообещал. Кто бы не сделал этого на его месте!

Тогда Катрина с живостью заговорила:

— Вы знаете, господин Жером, что аббат Ла Перрюк, викарий прихода святого Бенедикта, обвиняет брата Ангела, будто тот украл у него осла; и вот теперь он подал на него жалобу духовному судье. А все это клевета и напраслина. Добрый брат просто взял осла на время, развозить реликвии по деревням. А осел дорогой потерялся. Реликвии-то потом нашлись. И это, конечно, самое главное, как говорит брат Ангел. Но аббат Ла Перрюк требует своего осла и слушать ничего не хочет. И добьется того, что бедного братца посадят в епархиальную темницу. Только вы один и можете смягчить гнев этого священника и уговорить его взять обратно свою жалобу.

— Но у меня, милочка, нет никакой возможности это сделать, — отвечал аббат Куаньяр, — да и ни малейшей охоты!

— Ах! — вздохнула Катрина, подсаживаясь к нему поближе и поглядывая на него с притворной нежностью. — На что бы я годилась, коли бы не могла внушить вам охоту! А что до возможности, то она у вас есть, господин Жером, она у вас есть. Вам не будет стоять никакого труда спасти бедного братца. Нужно только поднести господину Ла Перрюк восемь проповедей на великий пост и четыре на рождественский. У вас так складно выходят проповеди, что вам, должно быть, одно удовольствие их сочинять. Напишите двенадцать проповедей, господин Жером, напишите их вот теперь же. А я сама приду к вам за ними в вашу каморку на кладбище святого Иннокентия. Господин Ла Перрюк, который такого высокого мнения о вашей учености и заслугах, считает, что дюжина ваших проповедей стоит одного осла, И как только он получит всю дюжину, он возьмет свою жалобу обратно, Он сам это сказал. Ну, что для вас двенадцать проповедей, господин Жером? И я вам обещаюсь произнести аминь в конце последней. Ведь вы же мне пообещали, — прибавила она, обнимая его за шею,

— Ну, нет! — решительно сказал г-н Куаньяр, сбрасывая хорошенькие ручки, лежавшие на его плечах. — Отказываюсь наотрез. Обещания, которые даешь пригожей девушке, обязывают только нашу плоть и нарушить их нет греха. Не рассчитывайте, моя красавица, что я стану

спасать вашего любезного бородача из рук духовного судьи. И если бы я взялся написать одну, две или даже дюжину проповедей, так это были бы проповеди против дурных монахов, которые позорят церковь и липнут, как мухи, к одежде святого Петра. Этот брат Ангел — мошенник. Он подсовывает благочестивым женщинам под видом реликвий бараньи и свиные кости после того, как сам с омерзительной жадностью обглодает их дочиста. Бьюсь об заклад, что на осле господина Ла Перрюка у него было перо из крыла архангела Гавриила и луч от звезды, которая указывала путь волхвам, а в какой-нибудь маленькой скляночке немножко звона тех самых колоколов, что звонили на колокольне храма Соломонова. Он неуч, он враль, и вы его любите. Вот три причины, по которым он мне не нравится. Предоставляю вам самой, милочка, судить, какая из них самая веская. Очень может быть, что это окажется наименее возвышенная, ибо, признаюсь, что я сейчас вождедел к вам с такой силой, которая отнюдь не подобаает ни возрасту моему, ни сану. Но не извольте ошибаться: я весьма живо ощущаю, какой ущерб этот ваш любовник в монашеской рясе наносит церкви господа бога нашего Иисуса Христа, коей весьма недостойным членом я себя почитаю. И пример этого капуцина вызывает во мне такое отвращение, что у меня внезапно явилось желание поразмыслить над какими-нибудь прекрасными строками святого Иоанна Златоуста вместо того, чтобы тереться коленями о ваши коленки, чем я занимаюсь вот уж добрую четверть часа. Ибо похоть грешника преходяща, а слава господня длится во веки веков. Я никогда не придавал слишком большого значения плотскому греху. В этом мне можно отдать справедливость. Я не прихожу в ужас по примеру господина Никодема из-за такой малости, как шашни с хорошенькой девушкой. Но чего я не выношу, так это низости душевной, лицемерия, вранья, тупого невежества, словом, всего того, чем отличается ваш брат Ангел, ибо он истый капуцин. Якшаясь с ним, мадемуазель, вы привыкаете к такому грязному распутству, которое роняет вас в вашем звании веселой девицы. Я знаю, что в вашем ремесле приходится сносить много унижений и горестей, и все же это несравненно достойнее, чем быть капуцином. Этот мошенник грязнит вас, как он грязнит все, к чему прикасается, вплоть до сточной канавы на улице святого Иакова, которую он мутит своими ногами. Подумайте, мадемуазель, о всех тех добродетелях, коими вы еще могли бы украсить даже при своем сомнительном ремесле, а ведь и единая из них могла бы однажды открыть вам врата рая, не будь вы так слепо преданны и подчинены этой грязной скотине.

Не отказываясь от того, что вам как-никак полагается получать от

гостя, вы все же могли бы блюсти себя, Катрина, украшаться верой, надеждой и милосердием, любить бедных и посещать больных, вы могли бы раздавать милостыню, утешать страждущих и радоваться невинно, созерцая небо, воды, леса и поля. Вы могли бы по утрам, распахнув окно, славить господа, внимая щебету птиц; в дни паломничества вы могли бы взойти на гору святого Валериана и там, у подножья креста, оплакивать тихими слезами свою утраченную невинность; словом, вы могли бы заслужить, чтобы тот, кто читает в сердцах людей, сказал: «Катрина — мое создание, и я узнаю ее по тем проблескам божественного света, который еще не совсем угас в ней».

Тут Катрина перебила его.

— Послушайте, аббат, — сухо сказала она, — с чего это вам вздумалось угощать меня проповедью?

— Да ведь вы только что просили у меня их целую дюжину, — ответил он.

Она рассердилась.

— Берегитесь, аббат. От вас зависит, будем мы друзьями или врагами. Согласны вы сочинить двенадцать проповедей? Подумайте, прежде чем ответить.

— Мадемуазель, — сказал аббат- Куаньяр, — я в своей жизни не раз совершал поступки, достойные порицания, но только не тогда, когда я над ними думал.

— Стало быть, вы не хотите? Окончательно? Раз... два... так вы отказываетесь?.. Смотрите, аббат, я отомщу.

Она надулась и некоторое время сидела молча с сердитым лицом. И вдруг завопила:

— Перестаньте, господин аббат Куаньяр! В ваши годы, да еще в этом почтенном облачении, так приставать ко мне! Фу! господин аббат! Фу! Постыдитесь!

В то время, когда она вопила во все горло, аббат увидел, как на паперть вошла девица Лекэр, которая торговала прикладом в лавке «Три девственницы». Она пришла в этот поздний час на исповедь к третьему викарию церкви св. Бенедикта и, проходя мимо, отвернулась в знак глубочайшего отвращения.

Аббат невольно подумал, что месть Катрины оказалась скорой и верной, ибо добродетель девицы Лекэр, укрепившись с годами, сделалась столь отважной, что заставляла ее ополчаться против всех пороков в приходе и по семи раз на дню пронзать острием своего языка блудодеев с улицы св. Иакова.

Но Катрина еще и сама не подозревала, как ловко ей удалось отомстить. Она видела приближавшуюся девицу Лекэр. Но она не видела моего отца, который шел следом.

Мы пришли с ним на паперть, чтобы позвать аббата к «Малютке Бахусу». Батюшке нравилась Катрина: он просто из себя выходил, если ему случалось застать ее в объятиях какого-нибудь любезного кавалера. Он не заблуждался относительно ее поведения, но, как он говаривал, знать и видеть — совсем не одно и то же. Он ясно слышал вопли и крики Катрины. Человек он был горячий и не умел сдерживаться. Я очень испугался, как бы он во гневе не пустил в ход грубые ругательства и угрозы: мне уже представлялось, как он выхватывает свою шпиговальную иглу, которую он всегда затыкал за лямки передника, как почетное оружие, ибо очень гордился своим ремеслом.

Мои опасения оправдались лишь наполовину. Случай, когда Катрина проявила добродетель, не столько рассердил, сколько удивил отца, и чувство удовлетворения, охватившее его, пересилило гнев.

Он обратился к моему доброму учителю довольно учтиво и сказал ему с насмешливой строгостью:

— Господин Куаньяр, священники, которые домогаются общения с веселыми женщинами, теряют добродетель и бесчестят свое имя. И это справедливо даже в том случае, если они не получают за свое бесчестье никакого удовольствия.

Катрина поднялась и гордо удалилась с видом оскорбленной невинности, а мой добрый учитель с мягкой убедительностью шутливо возразил моему отцу:

— Превосходное рассуждение, мэтр Леонар, но все же не следует применять его без разбора и приклеивать ко всякому случаю, словно ярлык с ценой, который хромоногий ножовщик наклеивает на свои ножи. Не стану допытываться, чем, собственно, я заслужил, что вы сейчас применили его ко мне. Не достаточно ли будет, если я признаю, что заслужил его?

Непристойно распространяться о самом себе, и, чтобы говорить о своих отличительных свойствах, мне пришлось бы сперва побороть свою скромность. Я лучше позволю себе, мэтр Леонар, сослаться на пример достопочтенного Робера д' Абриссельского, который, посещая девиц легкого поведения, тем самым добился высоких заслуг. Можно еще припомнить святого Авраамия, сирийского отшельника, который не побоялся переступить порог злачного дома.

— Какой это святой Авраамий? — спросил батюшка, у которого уже

все перепуталось в голове.

— Сядем-ка вот здесь, возле вашего дома, — сказал мой добрый учитель, — вы принесете нам кувшин вина, а я расскажу вам историю этого великого святого так, как она дошла до нас в сказаниях святого Ефрема.

Батюшка кивнул в знак согласия. Мы уселись втроем под навесом, и мой добрый учитель рассказал нам следующее:

— Святой старец Авраамий жил один в пустыне, в маленькой хижине. Но вот у него умер брат и оставил сиротку-дочь замечательной красоты по имени Мария. Будучи убежден, что жизнь, которую он ведет, вполне подходит и для его племянницы, Авраамий построил для нее келийку рядом со своей и поучал сироту через небольшое оконце, сделанное в стене.

Он тщательно следил за тем, чтобы она постилась, бодрствовала и распевала псалмы. Но однажды некий монах, который, как полагают, был лжемонахом, прокрался к Марии в то время, когда святой Авраамий размышлял над Священным писанием, и склонил ко греху юную девицу, а она после этого сказала себе:

«Раз уж я погибла для господина бога, лучше мне удалиться отсюда в край, где меня никто не знает».

И, покинув свою келью, она отправилась в соседний город, именуемый Эдессой, где были чудесные сады и прохладные фонтаны; это и поныне один из самых благодатных городов в Сирии.

А святой муж Авраамий тем временем по-прежнему предавался благочестивым размышлениям. Прошло уже несколько дней, как исчезла его племянница, и вот однажды, открыв окошко, он спросил:

— Почему, Мария, ты больше не распевашь псалмов, которые ты так хорошо пела?

И, не получив ответа, он заподозрил истину и воскликнул!

— Свирепый волк похитил мою овечку!

В течение двух лет он пребывал в глубокой скорби, а затем до него дошли слухи, что его племянница ведет дурную жизнь. Решив действовать осторожно, он попросил одного из своих друзей побывать в городе и разузнать, что с ней случилось. Тот подтвердил, что Мария ведет дурную жизнь. Тогда святой муж попросил своего друга одолжить ему мирскую одежду и достать ему коня; затем, надев на голову широкополую шляпу и скрыв под нею свое лицо, он отправился в гостиницу, где, как ему сказали, проживала его племянница. Долго он поглядывал по сторонам в надежде увидеть ее, но так как она не появлялась, он, прикинувшись беспечным, с

улыбкой обратился к хозяину:

— Говорят, любезный хозяин, что у вас здесь есть красивая девица. Нельзя ли мне ее повидать?

Хозяин, человек услужливый, велел позвать Марию, И вот она появилась в таком наряде, который, по собственным словам святого Ефрема, красноречиво говорил о ее поведении. И святой муж при виде ее исполнился горести.

Однако он притворился веселым и заказал роскошное угощение. А Мария в тот день тосковала душой. Те, кто дарит удовольствия, не всегда вкушают их сами, и этот старик, которого она не узнала, ибо он не снимал своей шляпы, нисколько не веселил ее. Хозяин стал стыдить девушку за угрюмый вид, столь не подобающий ее ремеслу, но она, вздохнув, промолвила:

— Уж лучше бы господь бог дал мне умереть три года тому назад!

Святой Авраамий отвечал ей, как полагается галантному кавалеру, за какого его можно было принять по одежде.

— Малютка моя, — сказал он, — я пришел сюда не оплакивать твои грехи, а разделить с тобою любовь.

Но когда хозяин, наконец, оставил его наедине с Марией, он перестал притворяться и, сняв шляпу, промолвил, обливаясь слезами:

— Дитя мое, Мария! Разве ты не узнаешь меня? Ведь я — Авраамий, заменивший тебе отца.

Он взял ее за руку и всю ночь увещевал, призывая покаяться в своих грехах и искупить их. Но больше всего он старался уберечь ее от отчаяния и без конца повторял: «Дочь моя, один бог без греха!»

Мария от природы была кроткого нрава. Она согласилась вернуться к старцу. И едва стало светать, они отправились в путь. Она хотела было взять с собой свои наряды и украшения. Но святой муж убедил ее, что лучше все это оставить. Он посадил ее на коня и привез обратно в келью, где они снова зажили прежней жизнью. Но только на сей раз святой муж озаботился, чтобы келийка Марии не сообщалась с внешним миром и чтобы нельзя было из нее выйти иначе как через его келью; и вот таким-то образом, с божьей помощью, ему удалось уберечь свою овечку.

Такова история святого Авраамия, — заключил мой добрый учитель, поднимая чарку с вином.

— Замечательная история, — сказал мой отец, — я даже прослезился, так тронула меня несчастная судьба этой бедняжки Марии.

III

Правители

(Продолжение и конец)

В этот день мы с моим добрым учителем чрезвычайно удивились, повстречав у г-на Блезю в лавке «Под образом св. Екатерины» маленького человечка, желтого и худого, который оказался не кем иным, как прославленным памфлетистом Жаном Гибу. Мы были уверены, что он содержится в Бастилии, где уже привык обретаться. Но мы не замедлили узнать его, ибо на лице его еще остались следы мрака и тюремной сырости. Он перелистывал дрожащей рукой только что полученные из Голландии политические брошюры, а книгопродавец тревожно следил за ним. Г-н аббат Жером Куаньяр снял перед г-ном Гибу шляпу с непринужденным изяществом, которое было бы еще заметней, если бы шляпа моего доброго учителя не пострадала накануне вечером во время потасовки под виноградным навесом «Малютки Бахуса».

Господин аббат Куаньяр выразил удовольствие, что видит снова столь даровитого человека.

— Вы не долго будете меня здесь видеть, — отвечал г-н Жан Гибу. — Я покидаю эту страну, где не могу жить. Я не в состоянии больше дышать отравленным воздухом этого города. Через месяц я обоснуюсь в Голландии. Нет сил выносить Флери после Дюбуа, и я, по-видимому, чересчур порядочен, чтобы быть французом. У нас дурные законы, и правят нами дураки и мошенники. А этого я не в силах терпеть.

— Это верно, — подтвердил мой добрый учитель, — государственные дела у нас ведутся из рук вон плохо, и среди должностных лиц много воров. Власть поделили между собой глупцы и негодники, и если я когда-нибудь соберусь написать о нашем времени, это будет небольшая книжечка, нечто вроде *Apokolokynthosis* Сенеки-философа либо нашей довольно смачной «Менипповой сатиры»^[17]. Такая легкая и веселая манера больше подходит для этого предмета, нежели суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту^[18]. Я бы распространял этот памфлет в списках, чтобы его можно было легко спрятать под плащ и черпать в нем философское презрение к людям. Большинство лиц, стоящих у власти, он, вероятно, привел бы в негодование, но некоторые из них, сдастся мне, наслаждались бы втайне тем, что их обливают грязью. Я сужу по тому, что

мне однажды довелось слышать от одной знатной дамы, с которой я познакомился в Сеэзе в те дни, когда состоял в должности библиотекаря у господина епископа. Это была женщина уже не первой молодости, но еще не совсем остывшая от своих бурных походов. Ибо надо вам заметить, что в течение двадцати лет она была самой известной распутницей в Нормандии. И вот, когда я расспрашивал ее, какое самое сильное наслаждение она испытала в жизни, она мне ответила:

— Наслаждение чувствовать себя обеспеченной.

И по этому ответу я понял, что она не лишена известной тонкости чувств. Я полагаю, что кое-кто из наших министров тоже не лишен этой тонкости, и если я когда-нибудь выступлю против них, то лишь затем, чтобы приятно пощекотать их пороки и бесстыдство. Но зачем мешкать, зачем откладывать осуществление столь блестящего замысла? Сейчас же спрошу у господина Блезо писчей бумаги и сяду писать первую главу новой «Менипповой сатиры».

Он уже протянул было руку к удивленному г-ну Блезо, но Жан Гибу быстрым движением остановил его.

— Поберегите этот превосходный замысел для Голландии, господин аббат, — сказал он, — и поедemте со мной в Амстердам, я вас пристрою к какому-нибудь торговцу лимонадом или к содержателю банного заведения. Там вы будете свободны и сможете по ночам писать свою «Мениппову сатиру», — вы примоститесь на одном конце стола, а на другом я буду сочинять свои памфлеты. Они будут полны яда и — кто знает? — быть может, мы общими усилиями и добьемся перемен у нас в королевстве. Роль памфлетистов в падении государств гораздо значительнее, чем это кажется: они готовят катаклизмы, а восставший народ совершает его.

Какое это было бы торжество, — прибавил он свистящим голосом, стиснув свои черные зубы, изъеденные желчной слюной, — какая радость, если бы мне удалось сокрушить одного из тех министров, которые из подлой трусости заточили меня в Бастилию! Разве вам не хотелось бы, господин аббат, принять участие в столь благородном деле?

— Отнюдь, — отвечал мой добрый учитель, — Мне вовсе не желательно менять что-либо в государственном устройстве, и если бы я мог предположить, что мой Ароколосинтозис или «Мениппова сатира» способны оказать такое действие, я бы никогда не стал их писать.

— Как! — вскричал разочарованный памфлетист, — не вы ли мне только сейчас говорили, что наше правительство никуда не годится?

— Разумеется, — сказал аббат. — Но я следую мудрому примеру сиракузской старухи, которая в те времена, когда Дионисий был более чем

когда-либо ненавистен своему народу, ежедневно ходила в храм молить богов о продлении жизни тирана. Прослышав о такой удивительной преданности, Дионисий захотел узнать, чем она вызвана. Он призвал к себе старуху и стал расспрашивать ее.

— Я уже давно живу на свете, — отвечала она, — и видела на своем веку многих тиранов и каждый раз замечала, что плохому наследует еще худший. Ты — самый отвратительный из всех, кого я до сих пор знала. Из этого я заключаю, что твой преемник будет, если только сие возможно, еще ужаснее тебя; вот я и молю богов не посылать нам его как можно дольше.

Это была очень разумная старуха, и я, господин Жан Гибу, как и она, полагаю, что бараны поступают мудро, предоставляя стричь свою шерсть старому пастуху, из страха, как бы не пришел другой, помоложе, который станет стричь их еще короче.

У г-на Жана Гибу от этого рассуждения разлилась желчь, и он разразился горькими упреками.

— Какие недостойные речи! Какие негодные принципы! О господин аббат, как мало вы печетесь о благе общества и сколь недостойны вы того венка из дубовых листьев, который обещан поэтами доблестным гражданам! Вам следовало бы родиться в стране татар или турок, рабом какого-нибудь Чингис-хана или Баязета, а вовсе не в Европе, где насаждают принципы публичного права и философии. Как? Вы миритесь с дурным правительством и даже не желаете сменить его! В республике, построенной по моему плану, подобные убеждения карались бы по меньшей мере изгнанием и лишением прав. Да, господин аббат, в задуманную мною конституцию, в основу коей будут положены законы древних, я введу статью для наказания дурных граждан — таких, как вы. И я установлю кару для тех, кто мог бы содействовать благу государства и не сделал этого.

— Эге! — засмеялся аббат, — вы отбиваете у меня охоту жить в этой вашей хваленой республике. Ваши слова внушают мне опасения, не будут ли там чересчур принуждать.

— Там будут принуждать только к добродетели, — наставительно изрек г-н Жан Гибу.

— Вот видите, сколь права была сиракузская старуха, — сказал аббат, — и как следует опасаться, что после Дюбуа и Флери мы получим господина Жана Гибу! Вы мне сулите, сударь, правление насильников и лицемеров и, чтобы претворить в жизнь эти посулы, предлагаете мне стать продавцом лимонада или банщиком на амстердамском канале. Премного благодарен! Нет, лучше уж я останусь на улице святого Иакова, где можно пить прохладное вино, поругивая министров. Неужели вы думаете

прельстить меня обманчивой химерой этого правительства, состоящего из честных людей, которые возводят такие укрепления вокруг свободы, что вряд ли ею можно будет пользоваться.

— Господин аббат! — вскричал Жан Гибу, все более горячась. — И не совестно вам нападать на государственный строй, который задуман мною в Бастилии и о котором вы даже понятия не имеете!

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — мне не внушает доверия образ правления, рожденный заговором и мятежом. Оппозиция — плохая школа для правительства, а ловкие политики, пробившись таким образом к власти, прилагают потом все усилия, чтобы править согласно принципам, прямо противоположным тем, что они проповедовали ранее. Так было в Китае, да и в других местах. Они повинуются той же необходимости, какой подчинялись их предшественники. А если они что-либо и вносят нового, так разве свою неопытность. Вот вам одна из причин, сударь, которая заставляет меня предполагать, что новое правительство, почти ничем в сущности не отличаясь от того, что ему предшествовало, будет еще несноснее. Да разве мы уже не испытали этого на себе?

— Так, значит, сударь, — сказал г-н Жан Гибу, — вы оправдываете злоупотребления?

— Выходит, что так! — отвечал мой добрый учитель. — Правительства подобны винам: с течением времени они отстаиваются и становятся мягче. Даже и самые жесткие из них постепенно теряют свою терпкость. Я боюсь неотстоявшейся власти. Боюсь терпкой новизны республики. Если уж все равно надо жить под дурным управлением, то я предпочитаю монархов и министров, у которых рвение несколько поостыло.

Господин Жан Гибу нахлобучил шляпу на нос и распростился с нами в сильном раздражении.

Когда он ушел, г-н Блезю поднял глаза от своих счетов и, поправив очки, сказал моему доброму учителю:

— Вот уж скоро сорок лет, как я торгую книгами «Под образом святой Екатерины», и всякий раз для меня такое удовольствие слушать беседы ученых, посещающих мою лавку! Но только я не люблю, когда разговаривают о политике. Люди начинают горячиться и ссорятся по пустякам.

— Все это потому, — заметил мой добрый учитель, — что в этом деле нет никаких сколько-нибудь твердых основ.

— Есть во всяком случае одна, и никто не решится ее оспаривать, —

возразил г-н Блезе, книготорговец, — ибо надо быть дурным христианином и плохим французом, чтобы не признавать божественной силы священной мирохранительницы Реймской и ее святого мира, коим помазывают наших королей на французский престол в качестве наместников Христа. Сие есть незыблемая основа монархии.

IV

Дело «Миссисипи»

Известно, что в 1722 году парижский парламент разбирал дело о компании Миссисипи, в котором вместе с директорами этой компании были замешаны некий министр, исправлявший обязанности королевского секретаря, и несколько помощников управителей провинциями. Компанию обвиняли в подкупе государственных королевских чиновников, которые на самом деле грабили ее с обычной жадностью людей, стоящих у власти при слабом правительстве. Несомненно, что в то время все государственные пружины были плохо пригнаны или нарочно ослаблены. И вот на одном из судебных заседаний этого памятного процесса г-жа де ла Моранжер, супруга одного из директоров компании Миссисипи, давала показания в главной палате перед господами верховными судьями. Она показала, что некий г-н Леско, секретарь уголовного судьи, вызвал ее тайно в Шатле и дал ей понять, что спасение ее мужа зависит только от нее; а муж ее был видный мужчина, красавец собой. Г-н Леско сказал ей примерно следующее: «Сударыня, истинные друзья короля возмущены этим делом главным образом потому, что в нем не замешаны янсенисты^[19]. Ибо янсенисты суть враги монархии, равно как и религии. Предоставьте нам возможность, сударыня, осудить одного из них, и мы вознаградим вас за эту услугу, важную государству, тем, что возвратим вам супруга со всем его состоянием». Когда г-жа де ла Моранжер рассказала об этой беседе, не подлежащей огласке, председателю суда не оставалось ничего другого, как вызвать в суд г-на Леско, который сначала ото всего отрекся. Но у г-жи де ла Моранжер были прекрасные чистые глаза, и он не мог выдержать ее взгляда. Он смешался и был уличен. Это был рослый мошенник, рыжий, как Иуда Искариот.

История попала в газеты, и о ней заговорил весь Париж. О ней судачили в гостиных, и на гуляньях, у цирюльников, и у продавцов лимонада. И повсюду г-жа де ла Моранжер неизменно вызывала сочувствие, тогда как Леско всем внушал отвращение.

Общественное любопытство еще далеко не улеглось, когда мне случилось однажды сопровождать моего доброго учителя, г-на аббата Жерома Куаньяра, к г-ну Блезю, который, как вы уже знаете, содержит книжную лавку на улице св. Иакова «Под образом св. Екатерины».

Мы застали в лавке личного секретаря одного из наших министров, г-на Жантиля, который сидел, уткнувшись в книгу, только что полученную из Голландии, и знаменитого г-на Романа, автора весьма ценных исследований о государственной пользе. Почтенный г-н Блезе за своей конторкой читал газету.

Господин Жером Куаньяр подобрался к нему поближе, чтобы заглянуть через его плечо, нет ли каких новостей, до которых он был большой охотник. Этот ученый и столь блестяще одаренный человек не обладал никаким достоянием, ни крохой благ земных, и если он выпивал кружку в «Малютке Бахусе», у него уже не оставалось ни одного су в кармане и не на что было купить газету. Прочитав через плечо г-на Блезе о показаниях г-жи де ла Моранжер, он тут же воскликнул, что это просто замечательно и что отрадно видеть, как беззаконие низринуто со своего пьедестала слабой рукой женщины, чему существует немало примеров в Священном писании.

— Эта дама, — заметил он, — хотя она и водится с мытарями, которых я терпеть не могу, напоминает мужественных женщин, воспетых в Книге Царств. Она подкупает редким сочетанием прямоты и лукавства, и я восхищен ее блестящей победой.

Тут вмешался г-н Роман.

— Остерегитесь, господин аббат, — сказал он, протягивая руку, — остерегитесь судить об этом деле с личной и, так сказать обособленной точки зрения, не считаясь, как это вам надлежало бы, с общественными интересами, кои здесь затронуты. Во всем надо иметь в виду государственную пользу. Сия высшая польза, как это совершенно ясно, требовала, чтобы госпожа де ла Моранжер молчала или чтобы к словам ее отнеслись без доверия.

Господин Жантиль поднял нос от своей книги. — Это происшествие не имеет никакого значения, — сказал он. — Его чрезмерно раздули.

— Ах, господин секретарь, — возразил г-н Роман, — можно ли поверить, чтобы происшествие, из-за которого вас отстраняют от должности, не имело значения. Потому что вас, конечно, уволят, сударь, вас и вашего начальника. Я, со своей стороны, право, огорчен этим. Однако падение министров, замешанных в таком скандале, все же утешительно для меня тем, что это были люди, совершенно бессильные предотвратить удар.

Господин Жантиль подмигнул, давая понять, что на этот счет он вполне разделяет точку зрения г-на Романа.

А тот продолжал:

— Государство подобно человеческому телу. Не все его отправления

благородны. Некоторые из них приходится скрывать: я имею в виду самые необходимые.

— Ах, сударь! — вскричал аббат, — неужели было необходимо, чтобы Леско поступил так с несчастной женой арестованного? Ведь это же подлость!

— Ну-ну! — протянул г-н Роман, — подлость получилась, когда об этом узнали. А до тех пор в этом ровно ничего не было. Если вам угодно пользоваться тем великим благом, что вами кто-то управляет, — а только это и ставит человека выше животных, — нужно предоставить правителям возможность осуществлять их власть. А первая из сих возможностей — тайна. Вот почему народное правление, наименее тайное из всех, оказывается вместе с тем и самым слабым. Уж не думаете ли вы, господин аббат, что людьми можно управлять с помощью добродетели? Это сплошная фантазия!

— Нет, этого я не думаю, — отвечал мой добрый учитель. — Среди различных превратностей моей жизни я не раз имел случай убедиться, что люди — злые животные и обуздать их можно только силой или хитростью. Но при этом надо знать меру и не слишком задевать те жалкие крохи добрых чувств, которые уживаются в них рядом с дурными инстинктами. Потому что, сударь, человек, как он ни жалок, глуп и жесток, все же создан по образу и подобию божию и в нем еще сохранились некоторые черты сего прообраза. Правительство, которое не отвечает требованиям самой средней, обыденной честности, возмущает народ и должно быть свергнуто.

— Говорите потише, господин аббат, — промолвил секретарь.

— Монах непогрешим, — сказал г-н Роман, — а ваши утверждения, господин аббат, напоминают речи бунтовщика, Вы и вам подобные заслуживают того, чтобы вами вовсе не управляли.

— Что ж, — отвечал мой добрый учитель, — если управление, как выходит по вашим словам, заключается в мошенничестве, насилии и всякого рода вымогательствах, вряд ли приходится опасаться, что эта ваша угроза может осуществиться на деле; нами еще долго будут распоряжаться разные министры и управители провинций. Я бы только хотел, чтобы нынешние сменились другими. Новые не могут быть хуже этих, и — кто знает? — возможно, они даже будут немного лучше.

— Остерегитесь, остерегитесь! — воскликнул г-н Роман. — Самое замечательное в государстве — это преемственность и непрерывность, и, если в мире не существует совершенного государства, это, на мой взгляд, объясняется лишь тем, что потоп во времена Ноя нарушил порядок наследования престола. И мы до сих пор испытываем на себе последствия

этой путаницы.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — вы, верно, хотите позабавить нас своими теориями. История мира пестрит переворотами; в ней только и видишь, что междоусобные войны, бунты и восстания, вызванные жестокостью государей, и я, право, не знаю, чему в наше время следует больше поражаться: бесстыдству правителей или терпению народов.

Тут секретарь выразил сожаление, что г-н аббат не понимает благодеяний королевской власти, а г-н Блезе заявил нам, что лавка книгопродавца не место для обсуждения общественных дел.

Как только мы вышли, я дернул моего доброго учителя за рукав.

— Господин аббат, — сказал я ему, — вы, стало быть, забыли о сиракузской старухе, коли вам так не терпится сменить тирана?

— Турнеброш, сын мой, — ответил он мне, — я охотно признаю, что впал в противоречие. Но сия двойственность, которую ты справедливо отмечаешь в моих речах, не столь зловредна, как то, что философы именуют антиномией. Шаррон в своей книге «О мудрости» утверждает, что существуют антиномии неразрешимые. А что до меня, то стоит мне погрузиться в размышления о природе, как у меня в голове начинают прыгать штук пять-шесть таких чертовок, которые затевают меж собой драку и, кажется, вот-вот выцарапают друг дружке глаза, и тут уж становится ясно, что этих упрямых мегер помирить никак невозможно. Я потерял всякую надежду привести их к согласию, и это их вина, что я до сих пор не преуспел в метафизике. Но противоречие в данном случае, Турнеброш, сын мой, это противоречие кажущееся. Разум мой по-прежнему на стороне сиракузской старухи. Я думаю сегодня то же, что думал вчера. Просто я дал волю сердцу и уступил порыву, как самый обыкновенный человек.

V

Пасхальные яйца

Батюшка мой держал харчевню на улице св. Иакова как раз напротив церкви св. Бенедикта Увечного. Не скажу, что он очень уж любил великий пост, да такое чувство было бы неестественно для кухаря. Но он соблюдал постные дни и говел, как подобает доброму христианину. Денег на архиепископское разрешение от поста у него не было, и в великопостные дни он со своей женой, сыном, собакой и со всеми обычными посетителями, из коих самым усердным был мой добрый учитель, г-н аббат Жером Куаньяр, ужинал вяленой треской. Матушка моя, святая женщина, не потерпела бы, чтоб наш дворовый пес Миро глодал кость в страстную пятницу. В этот день она не приправляла похлебки бедного пса ни мясом, ни салом. Напрасно г-н аббат Куаньяр внушал матушке, что это не дело, что по всей справедливости Миро, который никак не причастен к святым таинствам искупления, не должен терпеть ради них лишения в пище.

— Нам с вами, матушка, — говорил этот великий человек, — подобает есть треску, поскольку мы суть члены святой церкви, но какое же суеверие, глумление, какая дерзость и, даже более того, кощунство приобщать пса к умерщвлению плоти, как это делаете вы; ведь сие для нас священно и дорого, ибо сам господь бог участвует здесь, а будь иначе — изнурять свою плоть было бы недостойно и бессмысленно. Такое заблуждение, простительное вам по вашей простоте, было бы преступно для человека ученого, да и для всякого здравомыслящего христианина. Подобные действия, голубушка моя, ведут прямым путем к самой чудовищной ереси. Ведь это все равно, как если бы вы утверждали, будто Иисус Христос приял смерть и за собак равно как и за сынов Адама. А нельзя и представить себе ничего более противного Священному писанию.

— Оно, может, и так, — отвечала матушка. — Но если Миро станет есть скоромное в страстную пятницу, мне все будет казаться, что он жид, и он станет мне противен. Какой же тут грех, господин аббат?

И мой добрый учитель, прихлебывая вино, отвечал ей ласково:

— Голубушка, я не берусь судить, грешите вы или нет, но, по правде сказать, нет в вас никакого зла, и я больше верю в спасение вашей души, нежели в спасение душ пяти-шести знакомых мне епископов и кардиналов, которые, впрочем, писали прекрасные трактаты о правилах истинной веры.

Миро, пофыркивая, уплетал свою похлебку, а батюшка с г-ном

аббатом Куаньяром, поужинав, шли прогуляться и заглянуть к «Малютке Бахусу».

Так проводили мы в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» святые дни великого поста. Но в день пасхи с раннего утра, когда колокола св. Бенедикта Увечного радостно благовестили о воскресении Христовом, батюшка нанизывал на вертел цыплят, уток, голубей целыми дюжинами, а Миро в уголке около пылающего очага вдыхал славный запах жира и помахивал хвостом с видом задумчивого и важного довольства. Старый, одряхлевший, почти слепой, он еще сохранил вкус к уладам земной жизни, бедствия коей переносил с безропотностью, тем самым, облегчая их для себя. Миро был истинный мудрец, и я не удивляюсь, что матушка моя приобщала к своим: богоугодным делам столь разумное существо.

После торжественной службы шли обедать в харчевню, всю пропитанную сдобными, аппетитными запахами. Батюшка садился за трапезу с благочестивым весельем. Обычными его гостями были: писцы, из духовного суда и мой добрый учитель, г-н аббат Куаньяр. Помнится, в лето по рождестве Христовом 1725-е мой добрый учитель привел к нам на пасху господина Николя Сериза, которого он откопал в какой-то мансарде на улице Масон, где сей ученый муж занимался тем, что день и ночь сочинял для голландских издателей разные разности из жизни литературной братии. На столе в проволочной корзине возвышалась целая гора красных яиц. И после того, как аббат Куаньяр произнес *Benedicite*, эти яйца стали предметом оживленной беседы.

— У Элия Лампридия, — сказал г-н Николя Сериз, — говорится, что курица, принадлежавшая отцу Александра Севера, снесла красное яйцо в день рождения сего младенца^[20], предназначенного судьбою для престола.

— Видно, этот Лампридий не отличался умом, — возразил мой добрый учитель, — а то бы он предоставил кумушкам рассказывать этикие сказки. Но у вас, сударь, достаточно здравого смысла, и не станете же вы утверждать, что из этой нелепой басни возник наш христианский обычай красить яйца на пасху.

— Да нет, я тоже не думаю, — сказал г-н Николя Сериз, — что этот обычай произошел от яйца, снесенного курицей Александра Севера. Единственный вывод, который, по-моему, напрашивается из факта, приведенного Лампридием, это то, что у язычников красное яйцо знаменовало верховную власть. Однако, — добавил он, — надобно было как-то покрасить это яйцо, ибо куры не несут красных яиц.

— Прощу прощенья! — вмешалась матушка, которая в ту минуту стояла у плиты и накладывала кушанья на блюда, — я сама видела в

детстве, как черная курица несла яйца почти совсем коричневые; а потому я охотно верю, что есть такие куры, которые и красные яйца несут, или почти что красные, ну хотя бы кирпичного цвета.

— Вполне возможно, — сказал мой добрый учитель, — ибо природа в своих творениях гораздо более прихотлива и разнообразна, чем мы это себе представляем. В животном мире много всяких удивительных странностей, а в кабинетах по естественной истории можно наблюдать куда более диковинные уродства, чем красное яйцо.

— Верно! — подхватил г-н Николя Сериз, — в королевском собрании редкостей выставлен пятиногий теленок и ребенок о двух головах.

— А я еще и не то видела в Оно, под Шартром, — сказала матушка, ставя на стол дюжину локтей сосисок с тушеной капустой, от которых поднимался до самого потолка густой ароматный пар. — Я, господа, видела новорожденного младенца с гусиными лапами и змеиной головой. Повивальная бабка, которая его принимала, так перепугалась, что бросила его в печку, в самый огонь.

— Подумайте, что вы говорите! — воскликнул г-н аббат Жером Куаньяр. — Ведь человек рождается от женщины, дабы служить господу богу, и немислимое дело, чтобы ему могло служить существо со змеиной головой, а следовательно, таких младенцев не существует и вашей повивальной бабке либо все это привиделось, либо она просто посмеялась над вами.

— Господин аббат, — промолвил с усмешкой Николя Сериз, — вы, как и я, видели в королевском музее двуполого уродца с четырьмя ногами в банке со спиртом, а в другой банке — младенца без головы и с одним глазом над самым пупком. Что ж, разве эти уроды лучше могли бы служить господу богу, чем ребенок со змеиной головой, о котором рассказывает наша хозяйка? А что сказать о тех, с двумя головами? Никто ведь не знает толком: а может статья, у них две души? Согласитесь, господин аббат, что природа, забавляясь такими жестокими шутками, иной раз ставит в тупик господ богословов.

Мой добрый учитель открыл уже было рот, чтобы ответить, и, разумеется, он тут же опроверг бы рассуждения г-на Николя Сериза, но матушка моя, которую ничто не могло удержать, когда ей хотелось поговорить, опередила его, заявив очень громко, что младенец, родившийся в Оно, вовсе не человек и что его черт сделал одной булочнице.

— И вот доказательство, — добавила она. — Ведь никому и в голову не пришло его окрестить, просто завернули в тряпицу да закопали в саду. А ежели бы то было человеческое дитя, то его схоронили бы в освященной

земле. Когда дьявол делает женщине ребенка, так уж всегда в виде животного.

— Голубушка моя! — ответил ей г-н аббат Куаньяр, — ведь это диводивное, чтобы деревенская баба знала о дьяволе больше, нежели доктор богословских наук, и меня, прямо скажу, умиляет, что вы ссылаетесь на кумушку из Оно в вопросе о том, принадлежит или не принадлежит некий плод, принесенный женщиной, к роду человеческому, искупленному кровью господней. Поверьте, вся эта чертовщина — только грязные выдумки, которые вам следует выбросить из головы. Нигде у святых отцов нельзя прочесть, чтобы дьявол делал ребенка девушкам. Все эти басни о сатанинском блюде — омерзительный бред, и просто срам, что иезуиты и доминиканцы писали об этом целые трактаты.

— Хорошо сказано, аббат! — заметил г-н Николя Сериз, подцепляя с блюда сосиску. — Но вы так и не ответили мне на мои слова касательно того, что дети, которые рождаются без головы, не очень-то пригодны для высшего назначения человека, которое, как учит церковь, состоит в том, чтобы познать бога, служить ему и возлюбить его, и что тут, так же как и во множестве зародышей, загубленных зря, природа, по правде сказать, ведет себя отнюдь не по-богословски и даже не по-христиански. И я бы сказал, что она совсем не религиозна ни в одном из своих проявлений и как будто даже вовсе не ведает бога. Вот что меня пугает, аббат!

— Ах! — воскликнул батюшка, потрясая поддетым на вилку куском дичи, которую он начал резать. — Ах! что за неприятные речи! Мрачные и совсем не подходящие к светлому празднику, который мы нынче справляем. И вот поди ж ты! Все это из-за моей жены! Это она нам поднесла ребенка со змеиной головой, будто такое угощение может прийтись по вкусу добрым гостям! И надо же было, чтоб из этих славных красных яиц вылупилась этакая несусветная чертовщина!

— Ах, дорогой хозяин! — сказал г-н аббат Куаньяр, — а ведь верно: и чего только не вылупливается из яйца! У язычников по этому поводу есть весьма философские притчи. Но чтобы из таких воистину христианских яиц, хотя и в античном пурпуре, которые мы только что ели, вылезла целая стая нечестивых дикостей — признаться, этому я и сам изумляюсь!

Господин Николя Сериз взглянул на моего доброго учителя и, подмигнув ему, заметил с тонкой усмешкой:

— А ведь в самом своем существе, господин аббат Куаньяр, эти яйца, скорлупа которых, выкрашенная свекольным соком, усеяла весь пол у нас под ногами, далеко не столь христианские и католические, как вы изволите полагать. Напротив, пасхальные яйца имеют древнеязыческое

происхождение: они знаменуют собой таинственное зарождение жизни во время весеннего равноденствия. Это — древний символ, сохранившийся и в христианской религии,

— С тем же правом можно утверждать, — возразил мой добрый учитель, — что это символ воскресения Христова. А так как я вовсе не склонен загромождать религию разными мудреными иносказаньями, то мне сдается, что удовольствие скушать яичко, которого ты был лишен во все время поста, и есть единственное основание тому, что оно в этот день появляется на столах, окруженное таким почетом и облаченное в царский пурпур. Но какое это имеет значение! Все это пустяки, которыми развлекаются книгочии да библиотекари. Но стоит подумать над тем, господин Николя Сериз, что вы в своих рассуждениях противопоставляете природу религии и хотите сделать из них врагов, это уже кощунство, господин Николя Сериз, и такое страшное кощунство, что даже наш добряк-кухарь и тот содрогнулся, хоть и не уразумел, в чем тут дело! Но меня оно не пугает, и подобные рассуждения никогда не могут совратить разум, который умеет управлять собой.

Дело в том, господин Николя Сериз, что вы здесь следуете стезей рассудка и учености, которая представляет собой не что иное, как тесный и коротенький грязный тупик, где люди, ища выхода, бесславно расшибают себе носы. Вы рассуждали на манер какого-нибудь глубокомысленного аптекаря, который возомнил, что знает природу, ибо различает кое-какие из ее внешних признаков. И вы решили, что если при естественном зарождении жизни получаются уроды, то это не входит в божественный промысел творца, создающего людей, дабы они прославляли его: «*Pulcher hymnus Dei homo immortalis*»^[21]. Великодушно с вашей стороны, что вы не причислили сюда и младенцев, умерших при рождении, а также помешанных и кретинов, — словом, всех тех, кто, на ваш взгляд, не может называться, по выражению Лактанция, высшей славой божьей — *Pulcher hymnus Dei*. Но что вы об этом знаете и что знаем мы, господин Николя Сериз? Вы, верно, принимаете меня за одного из ваших амстердамских или гаагских читателей, пытаюсь внушить мне, будто непознаваемая природа есть нечто несовместимое с нашей пресвятой христианской верой. Для наших глаз, сударь, природа — это всего лишь беспорядочное чередование образов, в смысл коих нам невозможно проникнуть, и я допускаю, что ежели судить по ней, следуя за каждым ее шагом, то невозможно различить в новорожденном младенце ни христианина, ни человека, ни даже особь, и что плоть представляет собою поистине непостижимый иероглиф. Но это ровно ничего не обозначает, ибо мы здесь видим только обратную сторону

узора. Не будем же задерживаться на этом, а заключим просто, что с этой стороны мы ничего познать не можем. Обратимся всем естеством своим к тому, что постижимо, а сие есть душа человеческая в единении с богом.

Смешно рассуждаете вы, господин Николя Сериз, о природе и о рождении. Вы напоминаете мне мещанина, который решил бы, что проник в тайны короля, лишь потому, что видел картины, развешанные по стенам в зале Совета. И подобно тому, как государственные тайны содержатся в беседах монарха с министрами, так и жребий человеческий кроется в мысли, которая возникает одновременно у творения и у творца. А все остальное — просто забава и пустяки, годные для развлечения ротозеев, каких немало толчется в академиях. Не говорите мне о природе, если только это не то, что можно увидеть у «Малютки Бахуса» воплощенным в Катрине-кружевнице, округлой и статной.

А вы, дорогой хозяин, — прибавил г-н аббат Куаньяр, — дайте-ка мне выпить, потому что у меня пересохло в горле по милости господина Николя Сериза, который полагает, будто природа безбожница. Ну и пусть, черт побери, такова она есть и в некотором роде даже и должна быть такой, господин Николя Сериз, а если она все же иногда глаголет о славе божией, так это бессознательно, ибо не существует никакого сознания вне разума человеческого, который один берет свое начало в конечном и бесконечном. Ну, выпьем!

Батюшка наполнил до краев стаканы моего доброго учителя г-на аббата Куаньяра и г-на Николя Сериза и заставил их чокнуться, что они и сделали от чистого сердца, ибо они были хорошие люди.

VI

Новое министерство

Господин Шиппен, который занимался в Гринвиче слесарным ремеслом, имел обыкновение всякий раз, приезжая в Париж, ежедневно обедать в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» в обществе ее хозяина и г-на аббата Жерома Куаньяра, моего доброго учителя. На сей раз он, спросив по своему обыкновению за десертом бутылку вина и закурив трубку, вынул из кармана «Лондонскую газету» и, попыхивая и прихлебывая, начал спокойно читать. Потом, спрятав газету, он положил трубку на край стола.

— Господа, — произнес он, — министерство пало.

— Ну и что же, — сказал мой добрый учитель, — какое это имеет значение!

— Извините, — возразил г-н Шиппен, — это имеет важное значение, потому что в прежнем министерстве были тори, а в новом будут виги, а кроме того, все, что происходит в Англии, — значительно.

— Сударь! — отвечал мой добрый учитель, — мы видели во Франции и не такие перемены. Мы видели, как четыре должности государственных секретарей были замещены шестью или семью советами по десяти членов в каждом, а господа государственные секретари, будучи разрезанными на десять кусков, затем были восстановлены в их прежней форме. И при каждой из этих перемен одни клялись, что все погибло, а другие, напротив, — что все спасено. И всякий раз сочиняли песенки. Скажу по совести, меня мало интересует, что происходит в кабинете правителя, поскольку я вижу, что уклад жизни от этого не меняется, и после реформ, как и до них, люди все так же себялюбивы, скупы, трусливы и злы, то неразумны, то свирепы и что число новорожденных, молодоженов, рогоносцев и повешенных не меняется, а сие и есть признак высокого общественного строя. И это прочный строй, сударь, и ничто его не сокрушит, ибо он держится на нищете и глупости человеческой, а в такого рода опорах никогда не будет недостатка. Благодаря им все здание приобретает такую прочность, что о него разбиваются усилия самых негодных властителей и всей этой невежественной толпы чиновников, кои им споспешествуют.

Батюшка, который слушал эту речь, стоя со шпиговальной иглой в руке, позволил себе сделать поправку и заметил с почтительной твердостью, что бывают и хорошие министры и что ему особенно памятен

один из них, недавно почивший; он издал очень мудрый указ, ограждавший харчевников от ненасытной алчности мясников и пирожников.

— Возможно, господин Турнеброш, — отвечал мой добрый учитель, — но об этом деле следует спросить и пирожников. Надобно всегда помнить о том, что государства держатся не премудростью нескольких министров, а потребностями многих миллионов людей, которые для того, чтобы жить, занимаются кто чем может, — любым низким и неблагородным промыслом, как-то: ремеслами, торговлей, земледелием, войной, мореплаванием. Эти личные нужды и создают то, что принято называть величием народов, а монарх и его министры не имеют к сему ни малейшего касательства.

— Вы ошибаетесь, сударь, — возразил англичанин, — министры имеют к этому касательство, они издают законы, из которых любой может либо обогатить, либо разорить народ.

— О! тут все зависит от того, как оно обернется, — сказал аббат. — Дела государственные столь обширны, что ум одного человека не в состоянии их охватить, а посему приходится прощать министрам, что они действуют вслепую, и не поминать лихом ни зло, ни добро, содеянное ими, ибо надобно считаться с тем, что они подобны детям, играющим в жмурки. К тому же это зло и добро, если рассудить без предубеждения, окажется совсем незначительным, и я сомневаюсь, сударь, чтобы какой-нибудь указ или закон мог возыметь такое действие, как вы говорите. Взять хотя бы девиц веселого поведения, ведь о них за один год издано столько всяких постановлений, сколько по всем другим корпорациям в королевстве не издадут и за сто лет; однако это не мешает им заниматься своим ремеслом, и с таким рвением, какое заложено в них самой природой. Они смеются над теми высоконравственными пакостями, которые некий советник, по имени Никодем, замышляет на их счет, и издеваются над мэром Безлансом, который, решив покончить с ними, столкнулся с несколькими судейскими чиновниками и блюстителями порядка и учредил какую-то недееспособную лигу. Могу вас заверить, что Катрина-кружевница даже и не слыхала про этого Безланса, да, верно, и не услышит до самой своей кончины, которая будет, как я надеюсь, кончиной, достойной христианки. И вот отсюда я и заключаю, что все эти законы, которыми министры набивают свои портфели, — пустые бумажонки, не способные ни облегчить нам жизнь, ни помешать жить.

— Господин Куаньяр, — сказал гринвичский слесарь, — измененность ваших речей явно свидетельствует, что вы привыкли жить в рабстве. Вы бы не так рассуждали о министрах и законах, если бы подобно мне имели

счастье пользоваться благами свободного строя.

— Господин Шиппен, — возразил аббат, — истинная свобода — та, в которой пребывает душа, освободившись от мирских суев. Что же касается общественных свобод, это — нелепая выдумка, которую я не принимаю всерьез. Все это пустые фантазии, коими и тешат тщеславие невежд.

— Я убеждаюсь, слушая вас, — сказал господин Шиппен, — что французы и в самом деле обезьяны.

— Позвольте! — воскликнул мой отец, — размахивая шпиговальной иглой, — среди них попадаются и львы!

— Не хватает, как видно, только граждан, — заметил г-н Шиппен. — У вас в Тюильрийском парке все рассуждают о государственных делах, но никогда из всех этих споров не получается ни одной разумной мысли. Ваш народ — это просто шумный зверинец.

— Сударь, — сказал мой добрый учитель, — что верно, то верно: когда человеческие общества приобщаются к цивилизации, они образуют своего рода зверинцы, ибо прогресс нравов и состоит в том, чтобы жить в клетке, а не скитаться без крова по лесам. И в этом состоянии пребывают ныне все европейские страны.

— Милостивый государь, — возразил гринвичский слесарь, — Англия не зверинец, ибо у нее есть парламент и министры подчиняются ему.

— Сударь, — отвечал аббат, — может статься, и во Франции будут когда-нибудь министры, подчиненные парламенту. Более того, время приносит большие перемены в устройстве государств, и можно представить себе, что лет этак через сто или через двести во Франции будет народная власть. Но тогда, сударь, министры, которые и сейчас не много значат, вовсе превратятся в ничто. Ибо, вместо того чтобы зависеть от монарха, который облакает их властью на более или менее длительный срок, они будут подчиняться мнению народа и испытывать на себе все его непостоянство. Надо заметить, что только в абсолютных монархиях министры проявляют некоторую твердость, как это можно наблюдать на примере Иосифа, сына Иакова, который был министром у Фараона, и Амана, министра царя Ассур: оба они принимали деятельное участие в управлении страной — один в Египте, другой в Персии. Только благодаря исключительным обстоятельствам, когда во главе сильного государства оказался слабый король, могла выдвинуться во Франции столь мощная фигура, как Ришелье. При народном правлении министры будут до такой степени бессильны, что все их злонравие и глупость не смогут причинить вреда.

Власть, врученная им Генеральными штатами, будет ненадежна и

недолговечна. Лишенные возможности рассчитывать вперед и вынашивать широкие замыслы, они будут проводить в жалких потугах свой недолгий век. Они будут чахнуть в тяжких усилиях прочесть на лицах пятисот представителей народа, как надлежит им действовать. Тщетно пытаюсь обрести собственную мысль в мыслях этого множества темных и несхожих меж собою людей, они будут томиться в мучительном бессилье. Они отвыкнут подготавливать что-либо на будущее или что-либо предвидеть и станут изощряться лишь в интригах и обмане. Падение будет для них не чувствительно, ибо они упадут с очень небольшой высоты, а имена их, начертанные углем на заборах руками сорванцов-школьников, будут вызывать лишь смех у прохожих.

Господин Шиппен, выслушав эту речь, пожал плечами.

— Это возможно, — сказал он, — я легко могу себе представить французов в таком состоянии.

— А что ж! — молвил мой добрый учитель, — и в таком состоянии мир будет идти своим путем. Есть-то всегда надо будет. А сия великая необходимость порождает все остальное.

Господин Шиппен сказал, выколачивая свою трубку:

— Пока что нам прочат министра, который будет покровительствовать земледельцам, но разорит торговлю, если только ему дать волю. Мне надобно быть начеку, ибо у меня слесарное дело в Гринвиче. Я соберу наших слесарей и выступлю перед ними с речью.

Он сунул трубку в карман и ушел, ни с кем не простившись.

VII

Новое министерство (Продолжение и конец)

Вечер выдался прекрасный, и после ужина г-н аббат Жером Куаньяр вышел прогуляться по улице св. Иакова, где уже загорались фонари; я имел честь сопровождать его. Остановившись у паперти св. Бенедикта Увечного, он указал мне своей прекрасной пухлой рукой, созданной для мудрых указаний, равно как и для нежных ласк, на одну из каменных скамей, стоявших по обе стороны паперти под строго готическими статуями, исписанными разными непристойностями.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он, — как ты думаешь, не присесть ли нам на минутку подышать воздухом на этих старых истертых камнях, где столько нищих до нас с тобой забывали о своих невзгодах. Может статься, среди этих бесчисленных бедняг было два-три человека, которые вели меж собой прекрасные беседы. Правда, мы здесь можем набраться блох, но так как для тебя, мой сын, сейчас пора любви, то тебе, конечно, будет казаться, что это — блохи Жаннетты-арфистки или кружевницы Катрины, которые приходят сюда сумерничать со своими дружками, и укусы их будут тебе сладостны. В юные годы возможно такое самообольщение. А для меня уже минуло время пленительных заблуждений, и я скажу себе только, что не следует поощрять чувствительность плоти и что философу не пристало раздражаться из-за блох, которые, как и все, что есть во вселенной, суть великая тайна всевышнего.

С этими словами он осторожно уселся, стараясь не потревожить маленького савояра и его сурка, которые спали безмятежным сном на старой каменной скамье. Я сел рядом; разговор, который произошел за обедом, не выходил у меня из головы.

— Господин аббат, — обратился я к моему доброму учителю, — вы вот сегодня говорили о министрах. Королевские министры не внушают вам никакого почтения ни своей одеждой, ни каретами, ни талантами, вы судили о них с независимостью, доступной лишь умам, которые ничему не удивляются. А затем, рассматривая участь сих сановников в народном государстве (ежели оно когда-либо будет), вы нам изобразили их весьма жалкими, заслуживающими не хвалы, а сострадания. Ужели же вы —

противник свободного государства, которое возродит дух республик древности?

— Сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — я по природе своей чувствую склонность к народному правлению. Меня влечет к нему скромность моего положения, а Священное писание, изучением коего я занимался, поддерживает меня в этой склонности, ибо, как сказал господь в Рамафанте: «Старейшины израильские алкают царя, дабы я не властвовал над ними. Да будет же таково право царя, который придет царствовать над вами, что возьмет он сыновей ваших, дабы они везли колесницу его, и заставит их бежать перед нею. И прикажет дочерям вашим умащать его, и готовить яства, и печь хлеба — «Filiis quoque vestras faciet sibi unguentarias et fecarias et panificas».

Так сказано об этом в Книге Царств, где говорится также, что владыка приносит своим подданным два злосчастных дара — войну и подати. И если справедливо, что монархии суть установление божественное, то не менее справедливо, что они воплотили в себе все черты глупости и злобы человеческой. И вполне вероятно, что небо ниспослало их народам, дабы покарать их: Et tribuit eis petitionem eorum^[22].

Нередко, гневаясь, он жертвы принимает,
И даже дар его нередко нас карает.

Я мог бы, сын мой, привести вам много превосходных изречений древних писателей, где ненависть к тирании передана с поразительной силой. И, наконец, мне кажется, а всегда выказывал некоторое мужество, презирая земное величие, ибо я подобно янсенисту Блезу Паскалю^[23], не терплю задир со шпагой на боку. Все устремления моего сердца и моего разума делают меня сторонником народного правления. Я посвятил этому немало размышлений, которые когда-нибудь изложу на бумаге. Это будет сочинение в таком роде, о коем обычно говорят, что надобно разгрызть кость, чтобы добраться до мозга;^[24] я хочу этим сказать, что напишу новое «Похвальное слово глупости»^[25], которая глупцам покажется вздором, но в которой люди умудренные разглядят мудрый смысл, осмотрительно скрытый под шутовской погремушкой и дурацким колпаком. Словом, я стану вторым Эразмом и, следуя его примеру, буду наставлять народы учеными и назидательными шутками. И в одной из глав моего трактата, сын мой, вы найдете исчерпывающие разъяснения касательно

занимающего вас предмета, и вам станет понятно положение министров, находящихся в зависимости от Генеральных штатов или народных собраний.

— Ах, господин аббат! — вскричал я, — как бы мне хотелось поскорее прочесть эту книгу! А когда вы полагаете написать ее?

— Не знаю, — отвечал мой добрый учитель. — И, сказать по правде, мне кажется, я никогда ее не напишу. Много разных преград стоит на пути того, что задумывает человек. Мы не распоряжаемся ни одной частицей будущего, и эта неопределенность, в коей пребывают сыны Адама, усугубляется для меня еще непрерывной полосой неудач. Вот потому-то, сын мой, я и не надеюсь, что мне когда-либо удастся написать это достойное сатирическое произведение. Я не стану читать вам здесь, на этой скамье, трактат о политике, но я расскажу вам по крайней мере о том, как зародилась у меня мысль ввести в мою воображаемую книгу главу, в коей будут показаны слабость и злонравие слуг, которых возьмет себе простак Демос^[26], когда придет к власти, если это когда-нибудь произойдет, чего я отнюдь не берусь утверждать, ибо не занимаюсь прорицаниями, оставляя это занятие девицам, гадающим наподобие сивилл — таких, как Кумская, Персийская и Тибуртинская, *quarum insigne virginitas est et virginitatis præmium divinatio*. Вернемся, однако, к нашему предмету. Тому назад примерно лет двадцать жил я в славном городе Сеэзе, где состоял библиотекарем у господина епископа.

Как-то раз проездом бродячие комедианты, которых туда случайно занесло, давали у нас в амбаре очень недурную трагедию. Я пошел посмотреть и увидел римского императора, у которого на парике было больше лавровых листьев, чем у свиного окорока на ярмарке в день святого Лаврентия. Он восседал в епископском кресле, а два его министра в придворных мундирах с орденскими лентами через плечо сидели по бокам на табуретах, и эта троица представляла собой торжественное заседание государственного совета, при свете ламп, от которых шел невыносимый чад. В ходе совещания один из советников изобразил в сатирических чертах консулов последних времен республики: как они спешат пользоваться и злоупотреблять своей мимолетной властью в ущерб народному благу, как они завидуют своим преемникам, в которых видят лишь сообщников по грабежу и лихоимству. Вот как он говорил:

Двенадцать месяцев он царством руководит.
Тут думать некогда, ведь власть из рук уходит;
Счастливым замыслам дозреть он не дает —

Из страха, что другой плоды его сорвет.
Народным благом он поставлен управлять,
Так надо ж и себе успеть кой-что урвать.
Он знает, грех такой ему легко простится:
Все жаждут в свой черед не меньше поживиться.

И вот, сын мой, эти стихи, которые своей нравоучительной точностью напоминают четверостишия Пибрака^[27], намного превосходят по своему смыслу все остальное в этой трагедии, которая чересчур отдает чванным легкомыслием Фронды и сильно испорчена героическими и любовными сценами в духе герцогини Лонгевильской^[28], выведенной там под именем Эмилии. Я постарался запомнить эти стихи и поразмыслить над ними. Ибо даже в произведениях, написанных для подмостков, встречаются превосходные мысли. И то, что поэт говорит в этих восьми строках о консулах Римской республики, относится в равной мере и к министрам демократических государств с их непрочной властью.

Они слабы, сын мой, ибо находятся в зависимости от народного собрания, не способного в равной мере ни к глубоким и обширным замыслам государственного мужа, ни к простодушной глупости бездельника-короля. Министр только тогда и может быть великим, когда он подобно Сюлли споспешествует разумному государю^[29] или же, как Ришелье, становится во главе государства на место монарха. А кто же не видит, что у Демоса не будет ни упрямой осмотрительности Генриха Четвертого, ни благодатной бездеятельности Людовика Тринадцатого? Если даже допустить, что он знает, чего хочет, он все равно не будет знать, как привести в исполнение свою волю и может ли она быть выполнена, Он не сумеет повелевать, и ему будут плохо повиноваться, в силу чего ему во всем будет мерещиться измена. Депутаты, которых он пошлет в Генеральные штаты, будут искусным образом поддерживать его заблуждения до тех пор, пока не падут жертвой его несправедливых, а может быть, и вполне справедливых подозрений. Эти штаты будут отличаться безликой посредственностью многолюдной толпы, из которой они выйдут, Они будут высказывать множество туманных и несвязных мыслей и задавать тяжкие задачи правителям, требуя от них выполнения разных неопределенных решений, в которых они и сами не в состоянии разобраться, в силу чего их министры, коим не так повезет, как легендарному Эдипу^[30], будут один за другим проглочены стоглавым

сфинксом, ибо не сумеют найти ответ на загадку, неведомый и самому сфинксу.

Главное же их бедствие будет заключаться в том, что им придется примириться с своим бессилием и за невозможностью действовать ограничиться произнесением речей. Они станут ораторами, и притом очень плохими ораторами, ибо талант несет с собой известную ясность, а это для них губительно. Им придется научиться говорить так, чтобы не сказать ровно ничего, и те из них, что поумнее, вынуждены будут лгать более других, так что наиболее смысленные станут у них наиболее достойными презрения. А если среди них и найдутся расторопные люди, способные заключать договоры, управлять финансами и вести дела, их знания им все равно не пригодятся, ибо у них не хватит времени, а время — это канва для обширных замыслов.

Столь унижительные условия будут отпугивать достойных и подстрекать тщеславие дурных. Со всех сторон, изо всех щелей выползут честолюбивые бездарности и полезут на первые должности в государстве, а так как честность не есть врожденное свойство человека, а ее должно воспитывать в нем долгими стараниями и непрестанными назидательными мерами, то на государственную казну тотчас же обрушатся полчища взяточников. Зло это еще возрастет благодаря громким скандалам, ибо при народном правлении трудно что-либо скрыть, и таким образом по вине некоторых будут заподозрены все.

Я отнюдь не заключаю из этого, сын мой, что народы будут тогда более несчастны, чем ныне. Я уже вам не раз говорил в наших прежних беседах, что не допускаю мысли, будто судьба народа зависит от короля или его министров, а видеть в законах источник благосостояния или нищеты общества — это значит придавать им слишком большое значение. Однако чрезмерное обилие законов пагубно, и я опасюсь, как бы Генеральные штаты не стали злоупотреблять своим законодательным правом.

Это небольшой грешок, когда Колен и Жанно выдумывают разные приказы^[31], пася своих овец, и твердят; «Ах, если бы я был королем!..» Но когда Жанно станет королем, он за один год издаст больше законов, нежели император Юстиниан за все свое царствование. И это еще одна причина, по которой царствие Жанно внушает мне опасения. Правда, короли и императоры правят обычно так дурно, что нечего бояться — хуже уж быть не может, и вряд ли Жанно наделает больше глупостей и жестокостей, чем все эти дважды и трижды венценосные монархи, которые со времен потопа заливают весь мир кровью и обращают его в развалины. Даже в его недееспособности и в его запальчивости будет то превосходство,

что они сделают невозможными эти мудреные отношения между государствами, которые именуются дипломатическими и ведут лишь к искусному разжиганию бесполезных и губительных войн. Министры простака Демоса, которых будут беспрестанно понукать, ругать, унижать, пихать и гнать в шею, забрасывая их гнилыми яблоками и крутыми яйцами пуще, чем любого злосчастливого арлекина в ярмарочном балагане, не будут иметь ни минуты досуга, чтобы в тиши кабинета со своими партнерами обдумать искусные ходы и подготовить кровопролитную бойню для поддержания того, что именуется европейским равновесием, а на самом деле служит лишь источником благополучия для дипломатов. А тогда, значит, наступит конец иностранной политике, и это будет великое счастье для несчастного человечества.

Тут мой добрый учитель поднялся и сказал.

— Нам пора идти, сын мой, ибо я в это время начинаю ощущать вечернюю прохладу, которая пронизывает меня сквозь изъяны моей одежды, прорвавшейся во многих местах. К тому же, если мы засидимся, как бы нам не спугнуть дружков Катрины и Жаннетты, которые бродят здесь в ожидании любовных утех.

VIII

Господа городские советники

В тот вечер мы с моим учителем пошли в виноградную беседку к «Малютке Бахусу» и застали там Катрину-кружевницу, хромого ножовщика и моего почтенного родителя. Они сидели все трое за одним столом, и перед ними стоял кувшин вина, из которого они уже отпили достаточно, чтобы настроиться на веселый лад.

У нас только что, как полагается по всем правилам, прошли выборы, — избирали двух новых городских советников, — и батюшка рассуждал по этому поводу сообразно своему ремеслу и своему разумению.

— Беда в том, — говорил он, — что эти советники — из судейского звания, а не из харчевников, и ставит их на должность король, а не торговцы, к примеру сказать, не корпорация парижских харчевников, коей я состою знаменосцем. Вот ежели бы я их выбирал, они бы отменили десятину и пошлину на соль, и все мы были бы довольны. И право же, если только мир не движется все время вспять, наподобие раков, наступит день, когда советников будут избирать торговцы!

— Можете не сомневаться, — сказал г-н аббат Куаньяр, — придет время, когда советников будут избирать хозяева и их подмастерья.

— Подумайте только, что вы говорите, господин аббат, — возразил батюшка, озабоченно хмурясь. — Ежели подмастерья станут вмешиваться в выборы советников, все пойдет кувырком. Когда я состоял в подмастерьях, я только о том и думал, как бы мне попользоваться хозяйским добром да хозяйской женошкой.

Ну, а с тех пор как у меня свое заведение и своя жена, я уважаю общественные интересы, ибо они совпадают с моими собственными.

Наш хозяин, Лестюржон, принес еще кувшин вина. Это был небольшого роста рыжий человечек, проворный и грубоватый.

— Вы это насчет новых советников рассуждаете? — сказал он, упершись руками в бока. — Я бы хотел только, чтобы они понимали дело не хуже прежних, хотя и те, надо сказать, не так уж много смыслили в общественном благе. Но они как-никак начали разбираться в своих обязанностях. Знаете, мэтр Леонар (он обращался к моему отцу), ту школу, где ребятишки с улицы святого Иакова азбуку зубрят, — ведь она деревянная, и попадись им в руки огниво да стружки — она так и запылает, не хуже костра в Иванову ночь. Я об этом уведомил господ в ратуше. И

письмо мое было написано как подобает, ибо мне написал его за шесть су писец, что сидит в каморке на Валь де Грас. Я указал в нем господам советникам, что малыши нашего квартала подвергаются постоянной опасности изжариться на манер колбасы, и об этом надобно подумать, ежели принять в соображение, каково это терпеть матерям. Господин советник, который ведает школами, ответил мне весьма учтиво, по прошествии трех месяцев, что он крайне озабочен опасностью, коей подвергаются ребятишки с улицы святого Иакова, и жаждет ее предотвратить, а посему посылает вышеуказанным школьникам пожарную кишку. «Милостью короля, — добавил он, — в ознаменование его побед, в двухстах шагах от школы воздвигнут фонтан, так что вода под рукой, а дети в несколько дней научатся обращаться с кишкой, каковую им жалует город». Прочел я это письмо и прямо чуть на стену не полез! Иду снова на Валь де Грас и диктую писцу такое письмо:

«Милостивый государь, господин советник! В школе на улице святого Иакова учатся двести карапузов, из коих самому старшему семь лет. Вот уж поистине пожарные, сударь, чтобы управиться с вашей пожарной кишкой! Возьмите ее обратно и постройте для школы дом из камня и бута».

Письмо это, как и предыдущее, обошлось мне в шесть монет вместе с печатью. Но я уплатил денежки не зря, ибо года через полтора с лишним получил ответ, в коем господин советник уверял меня, что малыши с улицы святого Иакова вправе рассчитывать на попечительство советников города Парижа, кои позаботятся об их безопасности. Вот как сейчас обстоит дело! А ежели теперь мой советник уйдет со своего поста, придется все начинать сызнова и опять платить писцу с Валь де Грас двенадцать монет. И вот потому-то, мэтр Леонар, хоть я очень хорошо понимаю, что у нас в ратуше сидят личности, которые куда больше годятся в ярмарочные шуты, я все-таки не желал бы увидеть на их месте новых, а предпочитаю моего советника с его пожарной кишкой.

— А я, — сказала Катрина, — простить не могу этому судейскому по уголовным делам! Он позволяет Жаннете-арфистке шляться каждый вечер по паперти святого Бенедикта Увечного. Экий срам! Она ходит по улицам как чучело и волочит свои грязные юбки по всем лужам. А в публичные места следовало бы пускать только прилично одетых девушек, которым не стыдно показаться на людях.

— Эх! — возразил хромой ножовщик, — а я так полагаю, что улица — она для всех, и я как-нибудь последую примеру нашего хозяина Лестюржона да схожу к этому писцу на Валь де Грас, чтобы он написал от моего имени дельную жалобу в защиту несчастных разносчиков. Стоит мне

только показаться с моей тележкой в сколько-нибудь порядочном месте, как тут же вырастает стражник, и едва только какой-нибудь лакей или две служанки останутся возле моего лотка, — тотчас откуда ни возьмись появляется эта черная дылда и именем закона приказывает мне отправляться с моим товаром куда-нибудь подальше. То я оказываюсь на месте, арендованном рыночными торговцами, то рядом с господином Лебарнь, гильдейским ножовщиком. Иной раз приходится убираться с дороги потому, что приближается карета епископа или принца какого-нибудь, и я наспех впрягаюсь в свои оглобли, тащу мою тележку прочь; и хорошо еще, если этот лакей или горничные, воспользовавшись суматохой, не унесут, не заплативши, какой-нибудь игольничек, ножницы или добротный складной нож из Шательро. Сил моих нет терпеть эту тиранию и сносить беззаконие от блюстителей закона! Меня прямо так и подмывает поднять бунт!

— По-моему, это знак того, — сказал мой добрый учитель, — что вы — ножовщик с благородной душой.

— Какая там благородная душа, господин аббат! — скромно возразил хромой ножовщик. — Я человек мстительный и по злопамятству продаю из-под полы песенки против короля, его девок и министров. У меня в тележке, под кожухом, добрая пачка этих песен. Только вы уж не выдавайте меня. А знатная песенка та, что с двенадцатью припевами!

— Я вас не выдам, — сказал мой отец, — по мне, добрая песенка стоит стакана вина, да, пожалуй, и больше. И против ножей тоже ничего не могу сказать и от души желаю вам, добрый человек, бойкой торговли, потому как всякому жить надобно. Но судите сами, нельзя же допустить, чтобы уличные продавцы равнялись с торговцами, которые снимают помещение и платят налоги. Ведь это прямое нарушение порядка и благоустройства. А наглости этим голодранцам не занимать стать. И до чего же это дойдет, если их не остановить. Вот прошлый год один крестьянин из Монружа стал прямо против моей «Харчевни королевы Гусиные Лапы» с тележкой, битком набитой жареными голубями, и давай продавать их на два су дешевле, чем я за своих беру. И горланил этот мужлан так, что у меня в лавке стекла звенели: «А вот по пяти су голуби, хорошие голуби!» Я ему раз двадцать своей шпиговальной иглой грозил. А он мне, как болван, знай одно твердит: улица, мол, для всех. Ну я, конечно, подал на него жалобу господину уголовному судье, и он меня признал правым и избавил от этого нахала. Не знаю уж, что потом с ним случилось, но я ему до сих пор простить не могу, много он мне вреда наделал, потому что когда я глядел, как мои давние клиенты покупают у него этих голубей, кто

пару, а кто и полдюжины, у меня от огорчения желчь разлилась, и я после того долго страдал меланхолией. Хотел бы я, чтоб его с головы до ног клеем вымазали да вываляли в перьях от всех тех жареных голубей, которыми он у меня под носом торговал, да так, всего в перьях, и провели по улицам, привязав к задку его тележки.

— Жестоки вы к бедным людям, мэтр Леонар, — сказал хромоногий ножовщик. — Вот этак-то несчастных и доводят до крайности.

— Господин ножовщик! — сказал, смеясь, мой добрый учитель, — мой вам совет: заказать в приходе святых Праведников какому-нибудь платному сочинителю сатиру на мэтра Леонара и продавать ее вместе с вашими песенками на двенадцать припевов про короля Людовика. Следовало бы высмеять нашего друга, который, и сам будучи почти что в рабстве, ратует не за свободу, а за тиранию. Я пришел к заключению из вашей беседы, господа, что управлять городом — искусство нелегкое, ибо тут надо уметь примирять разные противоречия, а то и прямо противоположные интересы, и что общественное благо складывается из множества частных бедствий, и в конечном счете надо еще удивляться, как это люди, замкнутые в городских стенах, не пожирают друг друга. Этим счастьем мы обязаны только их трусости. Общественное спокойствие в городе зиждется исключительно на малодушии горожан, кои, опасаясь один другого, держатся на почтительном расстоянии друг от друга. А монарх, внушая трепет всем, обеспечивает им неоценимые блага мирного существования. Что же касается ваших городских советников, власть у них небольшая, и они не способны ни причинить вам значительный вред, ни принести большую пользу. Их достоинство заключается главным образом в жезле да в парике, и не стоит вам так уж сетовать на то, что они назначаются королем и с недавних пор, уже при последнем короле, пожалованы в чиновники. Друзья монарха — они тем самым противники всех граждан без различия, а потому их враждебность легко сносить каждому благодаря тому совершенному равенству, с коим она распространяется на всех. Это своего рода дождь — на каждого попадает всего лишь несколько капель. А вот когда советников станет избирать народ (так оно, говорят, было в первые времена монархии), тогда у них появятся друзья и враги в самом городе. Коли это будут выборные от торговцев, платящих аренду и налог, они станут преследовать уличных продавцов, а если это будут выборные уличных продавцов, они станут придирааться к торговцам. Советники, избранные ремесленниками, будут прижимать хозяев, которые заставляют ремесленников работать на себя. Это будет постоянный источник разногласий и ссор. А заседания в ратуше будут

протекать чрезвычайно бурно. Каждый станет защищать интересы и притязания своих выборщиков. Однако, я думаю, нам не придется жалеть о нынешних советниках, которые зависят всецело от монарха. Бурная суетность новых доставит развлечение гражданам, которые будут созерцать в ней самих себя, словно в увеличительном зеркале. Они станут умеренно пользоваться своей умеренной властью. Выходцы из народа, они будут столь же не способны просвещать его, сколь и обуздывать. Богачи будут ужасаться их дерзости, а бедняки — обвинять их в робости, тогда как на самом деле и тем и другим следовало бы признать, что они просто шумят без всякого толку. Впрочем, они будут исполнять привычные обязанности и печься об общественном благе с той деловитой бездеятельностью, какую усваивают все, но дальше коей никогда не идут.

— Э-эх! — сказал батюшка. — Правильно вы изволили сказать, господин аббат! А ну, выпейте-ка!

IX

Наука

В этот день мы с моим добрым учителем дошли до Нового моста, где вдоль парапета теснились лари, на которых торговцы книжным хламом раскладывают романы вперемежку с душеспасительными сочинениями. Здесь за два су можно приобрести «Астрею», всю целиком, и «Великого Кира»^[32], потрепанные, замусоленные провинциальными книголюбями, и «Целебную мазь от ожогов» наряду с трактатами иезуитов. Мой добрый учитель, проходя мимо, имел обыкновение проглядывать кое-какие из этих творений, которые он, конечно, не покупал, ибо всегда был без денег, а если у него в редких случаях и оказывалось в кармане штанов несколько су, он благоразумно приберегал их для хозяина «Малютки Бахуса». К тому же он не стремился обладать благами сего мира, и даже самые лучшие произведения не вызывали у него желания приобрести их; ему было достаточно бегло ознакомиться с несколькими лучшими страничками, о которых он потом рассуждал с удивительной мудростью. Лари у Нового моста привлекали его еще тем, что книги здесь были пропитаны запахом жареного, ибо рядом торговали оладьями; таким образом этот великий человек одновременно наслаждался милыми ему ароматами кухни и науки.

Нацепив очки, он разглядывал выставку торговца книжным хламом с удовлетворением счастливой души, для которой все благолепно, ибо все, что ни есть, отражается в ней с благолепием.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне, — на прилавке у этого доброго человека лежат книги тех давних времен, когда книгопечатание еще пребывало в колыбели; в этих книгах чувствуется грубость наших предков. Я вижу здесь варварскую хронику Монстреле^[33], сочинителя, о коем говорили, что он едок, как горчица, два не то три жития святой Маргариты, которые некогда кумушки привязывали себе к животу, дабы облегчить родовые муки. Казалось бы, просто непостижимо, как это люди могли быть до такой степени глупы, чтобы писать и читать подобные нелепицы, если бы наша святая религия не учила нас, что человек рождается с зачатками слабоумия. А так как свет истинной веры, на мое счастье, никогда не оставлял меня даже в минуты прегрешений в постели или за трапезой, мне более понятна былая глупость людей, нежели их нынешняя сметливость, которая, скажу во правде, представляется мне мнимой и

обманчивой, какой она и предстанет грядущим поколениям, ибо человек в сущности — глупое животное, и завоевания его разума суть не что иное, как жалкое следствие его непрестанных метаний. По этой-то причине, сын мой, мне не внушает доверия то, что люди называют наукой и философией, и что, по моему убеждению, есть просто обман представлений и смутительных образов; в некотором смысле — это победа лукавого над духом. Вы, конечно, понимаете, я далек от того, чтобы верить во все те дьявольские козни, которыми устрашают простых людей. Как и отцы церкви, я полагаю, что искушение находится в нас самих и что мы сами для себя являемся демонами и искусителями. Но я возмущен господином Декартом и всеми философами, которые подобно ему пытались найти в познании природы правила жизни и основы нашего поведения. Ибо в конце концов, Турнеброш, сын мой, что такое это познание природы, как не самообольщение наших чувств? И что, скажите на милость, прибавляет к этому наука со всеми своими учеными, начиная с Гассенди ^[34] — а он отнюдь не был ослом! — и Декарта с его последователями вплоть до этого забавного дурачка господина де Фонтенеля? ^[35] Очки, сын мой, всего-навсего очки, вроде тех, что у меня на носу. Все эти микроскопы и зрительные стекла, которыми так кичатся, что это в сущности, как не те же очки, только более совершенные, чем мои? Прошлый год я их купил у оптика, на ярмарке в день святого Лаврентия, но, к несчастью, левое стекло у них, — а как раз левым глазом я лучше вижу, — было разбито нынче зимой, когда хромой ножовщик запустил мне в голову табуретом, вообразив, будто я обнимаю Катрину-кружевницу, он ведь человек грубый, а под действием плотских вожделений и вовсе взбесился. Так вот, Турнеброш, сын мой, что же представляют собой все эти инструменты, которыми ученые и любопытные загромождают свои кабинеты да музеи? Что такое все эти зрительные стекла, астролябии, буссоли, как не способы потворствовать самообольщению наших чувств и умножать роковое невежество, в коем мы пребываем от природы, попытками умножить наши отношения с ней. Самые ученые среди нас отличаются от невежд единственно тем, что обретают способность тешить себя многочисленными и сложными заблуждениями. Они разглядывают вселенную сквозь граненый топаз, вместо того чтобы смотреть на нее, — как это делает, к примеру сказать, ваша почтенная матушка собственным невооруженным глазом, который дал ей господь бог. Но ведь глаз остается тем же, сколько бы ни вооружали его стеклами; ведь нельзя изменить размеры, пользуясь приборами для измерения пространства, не меняется и вес оттого, что

пользуются высокочувствительными весами; ученые открывают только новые видимости и таким образом лишь становятся игрушкой новых заблуждений. Вот и все! Ежели бы я не был убежден в святых истинах нашей веры, то мне, сын мой, при моей твердой уверенности, что всякое человеческое познание ведет лишь к накоплению иллюзий, не оставалось бы ничего другого, как прыгнуть вот с этого парапета в Сену, которая на своем веку перевидала много утопленников, или же обратиться к Катрине-кружевнице за тем забвением мирских бед, кое находишь в ее объятиях, но кое мне при моем положении, а особенно в мои годы, искать непристойно. Я бы не знал, чему верить посреди всех этих приборов, которые своим многообразным обманом только безгранично умножали бы обман моего зрения, и я был бы никуда негодным академиком.

Так говорил мой добрый учитель, стоя у моста перед первой аркой слева, если считать от улицы Дофина, и приводя в ужас торговца, который принимал его за заклинателя. Внезапно схватив старенькую геометрию, украшенную довольно дрянными чертежами Себастьяна Леклера^[36], он воскликнул:

— Быть может, вместо того чтобы утопить себя в любви или в воде, я, не будь я христианином и католиком, бросился бы в математику, где рассудок находит пищу, которой он больше всего алчет, а именно — последовательность и непрерывность. Признаюсь, эта маленькая, ничем не примечательная книжка внушает мне некоторое уважение к человеческому гению.

С этими словами он таким рывком открыл учебник Себастьяна Леклера на главе о треугольниках, что чуть было не разорвал его пополам. Но через минуту он отшвырнул его от себя с отвращением.

— Увы! — пробормотал он, — числа подчинены времени, линии — пространству, и все это опять те же заблуждения человеческие. Вне человека нет ни геометрии, ни вообще никакой математики, и в конечном счете эта наука не позволяет нам выйти за пределы самих себя, сколь искусно она ни прикидывается независимой.

Сказав это, он повернулся спиной к успокоившемуся букинисту и глубоко вздохнул.

— Ах, Турнеброш, сын мой! — промолвил он. — Ты видишь, как я терзаюсь по собственной вине и как я горю в этой огненной ризе, в которую я сам пожелал облечься, дабы украсить себя.

Это была всего лишь образная манера выражаться, ибо на самом деле на нем был изношенный подрясник, который едва держался на двух-трех пуговицах; да и те были застегнуты не на свои петли, а когда ему на это

указывали, он, смеясь, говорил, что это прелюбодейные связи, символ наших городских нравов.

Он горячо продолжал:

— Я ненавижу науку за то, что слишком любил ее, — подобно тем любострастникам, которые упрекают женщин за то, что они не столь прекрасны, как им рисовало воображение. Я хотел все познать, и вот теперь плачусь за свое преступное безумие. Счастливы, — добавил он, — о, сколь счастливы эти добрые люди, что столпились вокруг вон того шарлатана!

И он показал рукой на лакеев и горничных и на грузчиков с пристани св. Николая, окруживших уличного фокусника, который давал представление со своим подручным.

— Гляди, Турнеброш, — сказал он мне, — они хохочут от всего сердца, когда один болван дает ногой пинка в зад другому болвану, да это и в самом деле забавное зрелище, но для меня оно испорчено размышлением, ибо когда задумаешься над сущностью этой ноги и всего остального, так уж теряешь охоту смеяться. Я должен был бы, как подобает христианину, своевременно постигнуть все лукавство, скрытое в изречении некоего язычника: «Блажен познавший причины!» — я должен был бы замкнуться в святом неведении, как в уединенном вертограде, и остаться невинным, как младенец. Я бы развлекался, сказать по правде, отнюдь не грубыми выходками сего Мондора ^[37] (Мольер с Нового моста не мог бы меня позабавить, когда и тот, настоящий, кажется мне чересчур шутовским), ^[38] но я радовался бы травкам в моем саду и прославлял бы господу бога в цветах и плодах моих яблонь. Чрезмерное любопытство увлекло меня, сын мой, я утратил в беседах с книгами и с учеными душевный покой, святую простоту и то чистосердечие малых сих, которое особенно прекрасно оттого, что не умаляется ни в кабаке, ни в вертепе, как это видно на примере хромоногого ножовщика, а также, осмелюсь сказать, на примере вашего батюшки-харчевника, который сохранил невинность души, хоть он пьяница и гуляка. Но не так бывает с тем, кто изучал книги. У него навсегда остается от них надменная горечь и высокомерная скорбь.

Так говорил учитель, но в этот миг слова его заглушил бой барабанов...

Х Армия

Итак, стоя на Новом мосту, мы услышали бой барабанов. Это набирали под ружье солдат в армию; сержант-вербовщик, лихо подбоченясь, важно выступал во главе дюжины солдат, у которых на штыках были нанизаны колбасы и булки. Столпившиеся вокруг мальчишки и оборванцы глазели на него, разинув рты.

Сержант, подкрутив усы, громко огласил воззвание.

— Не стоит слушать, — сказал мне мой добрый учитель. — Только время терять. Этот сержант выступает от имени короля, у него нет никакого дара выдумки. Если хотите услышать настоящие речи на эту тему, ступайте в какой-нибудь кабачок на Скобяной набережной, где эти мошенники увлекают лакеев да деревенских простаков. Вот там этим плутам приходится быть краснобаями. Помнится, как-то в юности, еще при покойном короле, мне довелось услышать поистине потрясающую речь одного такого торговца людьми, который закупал свой товар на Нищем Доле, его отсюда хорошо видать, сын мой. Он набирал людей для отправки в колонии. «А ну, молодцы, — говорил он, — вы, наверно, слышали не раз о благословенной счастливой стране изобилия, — чтобы попасть в этот обетованный край, надобно отправиться в Индию, а там уж всего вдоволь — сколько душе угодно! Желаете вы золота, жемчугов, алмазов? Ими там улицы мостят, только нагнись да подбирай. Да и нагибаться-то не надо! Дикари их вам наберут. Я уж не говорю про кофе, лимоны, гранаты, апельсины, ананасы и тысячи других замечательных плодов, которые растут сами собой, без всякого ухода, как в раю земном. Ежели бы передо мной были девки да ребятишки, я бы им порассказал обо всех этих лакомствах, но ведь я с мужчинами говорю!» Не стану уж повторять, сын мой, всего, что он там разглагольствовал о славе, но, поверьте, что силой убеждения он не уступал Демосфену, а красноречием превзошел самого Цицерона. Наслушавшись его, пятеро или шестеро из этих бедняг отправились помирать в болотах от желтой лихорадки. Вот оно и выходит, что красноречие — опаснейшее оружие, и чары искусства, направлены ли они к добру, или ко злу, — одинаково обладают неодолимым могуществом. Возблагодарите господу, Турнеброш, за то, что он, не наделив вас никакими талантами, избавил вас от опасности стать когда-нибудь бичом народов. Люди, угодные богу, сын мой, узнаются по тому, что они лишены разума; я

на себе убедился, что живость ума, коей меня наградило небо, — это непрестанная угроза моему спокойствию как здесь, на земле, так и в жизни будущей. А что было бы, если бы в груди моей обитало сердце Цезаря, а в голове— его разум? Мои вождения не различали бы пола, и я был бы недоступен чувству жалости. Я бы разжег в своей стране и далеко за ее пределами множество неугасимых войн. Хорошо ещё, что этот великий Цезарь обладал благородной душой и некоторой мягкостью. Он умер благопристойно от меча своих добродетельных убийц. О день Мартовских Ид, навеки злосчастный день, когда сии brutальные назидатели прикончили этого пленительного изверга! Я почитаю себя достойным оплакивать божественного Юлия рядом с его матерью, Венерой, и ежели я называю его извергом, то лишь любя, ибо его ровный дух был чужд каких-либо крайностей, за исключением властности. Он обладал врожденным чувством ритма и меры. В юности он с одинаковым пылом предавался наслаждениям плоти и утехам грамматики. Он был оратором, и красота его несомненно оживляла нарочитую сухость его речей. Он любил Клеопатру с той же геометрической четкостью, какую он вносил во все свои замыслы. Его сочинения, как и его поступки, отмечены духом ясности. Он был другом порядка и мира даже в самой войне; чуткий к гармонии, он был столь искусным законодателем, что даже мы, варвары, и поныне живем под сенью величия его власти, которая сделала мир тем, чем он является ныне. Ты видишь, сын мой, что я не скуплюсь воздать ему хвалу и выразить свою приверженность. Полководец, диктатор, верховный жрец, он лепил мир своими прекрасными руками. А я, бывший преподаватель красноречия коллежа в Бове, секретарь оперной дивы, библиотекарь его преосвященства епископа Сеэзского, писец при кладбище святого Иннокентия и наставник сына вашего родителя из «Харчевни королевы Гусиные Лапы», — я составил превосходный каталог редких рукописей, сочинил несколько пасквилей, о коих лучше не упоминать, и написал на оберточной бумаге размышления, отвергнутые издателями; все же я не поменял бы свою жизнь на жизнь великого Цезаря. Слишком дорого это обошлось бы моей невинности. По мне, лучше быть человеком безвестным, бедным и презираемым, каков я и есть на самом деле, нежели возноситься на вершины и открывать новые судьбы человечеству, к коим надо идти кровавым путем.

Этот вербовщик-сержант, который, как вы слышите, сулит беднякам по су в день, не считая хлеба и мяса, наводит меня, сын мой, на глубокие размышления касательно войны и войска. Кем-кем я не был на своем веку, но только не солдатом, ибо военное ремесло всегда внушало мне

отвращение и ужас присущими ему чертами рабства, тщеславия и жестокости, кои как нельзя более претят моей миролюбивой натуре, моей необузданной любви к свободе и моему разуму, ибо он, здраво рассуждая о славе, знает настоящую цену славе оружия. Я уж не говорю о моей неодолимой склонности к размышлениям, которой весьма досаждали бы упражнения с саблей и ружьем. И вам должно быть понятно, что я, отнюдь не стремясь быть Цезарем, не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом^[39]. И я не скрою от вас, сын мой, что военная служба представляется мне самой страшной язвой цивилизованных народов. Это чувство философа. А посему нет никакой вероятности, что его когда-либо будут разделять многие. В действительности, и короли и республики всегда будут находить столько солдат, сколько понадобится для их парадов и войн. Я читал у господина Блезо в его лавке «Под образом святой Екатерины» трактаты Макиавелли^[40] в прекрасных пергаментных переплетах. Они их заслужили, сын мой; и я со своей стороны бесконечно уважаю этого флорентинца за то, что он первый отринул в деяниях государственных мужей основу справедливости, на коей они никогда не воздвигали ничего иного, кроме прославленных злодейств. Сей флорентинец, видя отчизну свою отданной на милость наемных солдат, подал мысль о национальном и патриотическом войске. В одном из своих сочинений он говорит, что, по справедливости, все граждане должны заботиться о безопасности родины и быть солдатами. В той же лавке господина Блезо я слышал, как эту идею поддерживал господин Роман, который, как вы знаете, чрезвычайно печется о правах государства. Он мыслит только об общем и целом и не успокоится до тех пор, пока все частные интересы не будут принесены в жертву интересу общественному. Так вот, Макиавелли и господин Роман желают, чтобы все мы были солдатами, поскольку мы все граждане. Не стану утверждать подобно им, что это справедливо. Но не скажу также, что это несправедливо, ибо справедливость и несправедливость зависят от того, как к сему подойти, а это уж такой вопрос, который надо предоставить софистам.

— Как! дорогой учитель! — воскликнул я с горестным удивлением, — вы полагаете, что справедливость зависит от доводов софиста и что наши действия справедливы или несправедливы в зависимости от доказательств ловкого говоруна? Это утверждение так меня потрясает, что я даже и сказать не умею.

— Турнеброш, сын мой, — отвечал г-н аббат Куаньяр, — не забывайте, что я говорю о справедливости человеческой, которая отнюдь не

похожа на справедливость божественную и по существу своему прямо противоположна ей. Люди всегда утверждали понятие справедливого и несправедливого не иначе, как красноречием, которое одинаково способно приводить доводы «за» и «против». Вы хотите, быть может, сын мой, чтобы справедливость опиралась на чувство, но берегитесь, ибо такая опора годится лишь на то, чтобы построить скромный домашний приют, шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой^[41]. Но дворец законов, твердыня государственных установлений, требует иного фундамента. Простодушной природе не под силу выдержать одной сие несправедливое бремя, эти грозные стены воздвигаются на прочных устоях древней лжи лукавым и свирепым искусством законодателей, судей и монахов.

Бессмысленно вопрошать, Турнеброш, сын мой, справедлив или несправедлив какой-нибудь закон, и это так же верно в отношении военной службы, как и других установлений, о коих нельзя сказать, хороши они по сути своей или плохи, ибо нет сути вне господа бога, от кого все ведет свое начало. Вам следует остерегаться, сын мой, этого рабства словесного, коему люди поддаются с такой покорностью. Знайте же, что слово «справедливость» ровно ничего не значит, кроме как в богословии, где оно обладает страшной выразительностью. И знайте, что господин Роман не что иное, как софист, коль скоро он доказывает, что должно служить монарху. Однако я полагаю, что если какой-нибудь монарх повелит всем гражданам стать солдатами, все ему подчинятся, не скажу — с кротостью, но с веселием. Я заметил, что человеку более всего по душе ратное дело, ибо это то, к чему он естественно склонен по своим инстинктам и вкусам, а они у него не все хороши. И за редкими исключениями, к коим отношусь и я, человека можно определить как животное с ружьем. Оденьте его в нарядную форму и дайте надежду подраться, — и он будет доволен. Поэтому-то мы и почитаем ратную службу самым благородным занятием, что, конечно, в некотором смысле даже верно, ибо оно самое древнее, и первые люди на земле уже вели войну. Кроме того, поенное ремесло еще и тем под стать природе человеческой, что тут не надо думать, а мы, разумеется, и не созданы для того, чтобы думать.

Мышление — это болезнь, свойственная лишь некоторым особям, и если бы она распространилась, то быстро привела бы к уничтожению рода человеческого. Солдаты живут скопом, а человек животное общественное. Они носят мундиры голубые с белым, голубые с красным и серые с голубым, ленты, плюмажи и кокарды, в коих красуются перед девками, как петух перед курицей. Они идут на войну и на мародерство, а человек по

природе своей вор, распутник, разрушитель и в высшей степени падок до славы. Вот эта-то любовь к славе и заставляет главным образом наших соотечественников французов хвататься за оружие. И безусловно во мнении людском только военная слава и обладает блеском. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать сочинения историков. Всякий простит вояке Тюльпану, что он не превзошел в философии Тита Ливия.

XI

Армия

(Продолжение)

Мой добрый учитель продолжал свою речь так: — Надобно не упускать из виду, сын мой, что люди, связанные друг с другом в долгом беге времени одной цепью, из коей они видят лишь несколько звеньев, присваивают понятие благородства разным обычаям низкого, варварского происхождения. Их невежество способствует их тщеславию. Они строят свою славу на давних бедствиях, а доблесть оружия ведет свое начало от дикости первоначальных времен, о коих сохранилась память в библии и творениях поэтов. Что же в сущности представляет собой эта военная каста, застывшая в своей надменности высоко над нами, как не выродившихся последышей жалких звероловов, которых поэт Лукреций^[42] описал так, что не знаешь, люди это или звери. Достоинно удивления, Турнеброш, сын мой, что война и охота, одна мысль о коих должна была бы преисполнять нас стыдом и угрызениями совести, напоминая о низменных потребностях нашей природы и укоренившемся в нас зле, могли, наоборот, сделаться предметом людской гордости и что христианские народы и поныне чтут ремесло мясника и палача, когда оно переходит из рода в род, и что в конце концов у просвещенных наций именитость граждан измеряется количеством убийств и злодеяний, которые, так сказать, накопились в их крови.

— Господин аббат, — спросил я у моего доброго учителя, — а не думаете ли вы, что ратное ремесло почитается благородным из-за опасностей, с коими оно сопряжено, и из-за храбрости, какую при этом надлежит проявлять?

— Сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — если бы действительно звание человека почиталось благородным сообразно опасностям, с коими оно сопряжено, я бы, не колеблясь, сказал, что крестьяне и батраки — самые благородные люди в государстве, ибо они всякий день рискуют умереть от изнеможения и от голода. Опасности, коим подвергаются солдаты и полководцы, не столь многочисленны и далеко не столь длительны; за всю жизнь это разве что несколько часов, и все дело заключается в том, чтобы не дрогнуть под пулями и ядрами, которые убивают не так верно, как нищета. Сколь же надо быть легкомысленным и

тщеславным, сын мой, дабы прославлять солдатское ремесло более, нежели труд пахаря, и ценить разрушения войны выше мирных занятий.

— Господин аббат, — спросил я еще, — а вы не считаете, что солдаты необходимы для безопасности государства и что мы должны почитать их из признательности за то, что они нам полезны?

— Правду сказать, сын мой, война — это потребность человеческой природы, и нельзя представить себе народы, которые бы совсем не дрались, то есть, другими словами, не состояли бы из человекоубийц, грабителей и поджигателей. Нельзя также представить себе монарха, который в какой-то мере не был бы узурпатором. Его бы слишком порицали и презирали за то, что он равнодушен к славе. Вот то-то и есть, что война необходима человеку; она гораздо более свойственна ему, чем мир, который есть не что иное, как передышка между войнами. Потому-то монархи и посылают свои войска одно против другого по самым пустячным поводам и ничтожным причинам. Они ссылаются на свою честь, а она у них чрезвычайно чувствительна. Достаточно дуновения, чтобы на ней появилось пятно, и смыть его можно только кровью десяти, двадцати, тридцати, а то и сотни тысяч человек, смотря по населенности государства. А ведь если вдуматься, мыслимо ли представить себе, каким образом честь монарха может быть обелена кровью этих несчастных? Вот тут-то и начинаешь понимать, что все это — одни слова, лишённые всякого смысла; но люди готовы убивать друг друга ради слова. А еще более надобно удивляться тому, что монарху приносит честь и славу захват чужой земли и что злодеяние, за которое какого-нибудь головореза карают смертью, становится достойным похвал, ежели его с самой зверской жестокостью совершает монарх при помощи своих наемников.

Высказав все это, мой добрый учитель достал из кармана табакерку и заложил в нос оставшиеся крохи табаку.

— Господин аббат, — спросил я его, — а разве не бывает войн справедливых, которые ведутся за правое дело?

— Турнеброш, сын мой, — отвечал он мне, — просвещенные народы довели несправедливость войны до чрезмерных крайностей и сделали ее совершенно бесчестной и вместе с тем невероятно жестокой. Первые войны велись племенами из-за владения плодородными землями. Так израильтяне завоевали Землю Ханаанскую. Их толкнул на это голод. А с ростом цивилизации войны ведут, дабы завоевать колонии и фактории, как это видно на примере Испании, Голландии, Англии, и Франции. Наконец немало было таких королей и императоров, которые и вовсе без нужды прибирали к рукам целые области и разоряли да опустошали их безо всякой

пользы для себя, если не считать воздвигнутых ими там пирамид и триумфальных арок. Такое злоупотребление войной особенно гнусно, ибо невольно наводит на мысль, что либо люди, по мере совершенствования в науках, становятся все злее и злее, либо — и это, пожалуй, вернее, — что война есть насущная потребность человеческой природы и люди воюют просто ради того, чтобы воевать, даже когда война не имеет никакого смысла.

Эта мысль глубоко удручает меня, ибо я по своему сану и по складу ума склонен любить моих ближних. А что меня сейчас уж совсем приводит в уныние, Турнеброш, сын мой, так это сделанное мной открытие, что табакерка моя пуста, а табак — самое мое уязвимое место: из-за него мне больше всего приходится страдать от нищеты.

Чтобы отвлечь его мысли от этой маленькой слабости и вместе с тем почерпнуть от его учености, я спросил его, не кажется ли ему, что междоусобная война — это самая мерзкая из войн.

— Она и в самом деле мерзостна, — отвечал он мне, — но вовсе уж не так бессмысленна, ибо когда граждане схватываются друг с другом, им все же видней, из-за чего они вступили в драку, чем когда они идут войной на чужеземцев. Мятежи и внутренние распри обычно порождаются крайней нищетой народа. Они вызваны отчаянием, и это единственный выход, оставшийся у бедняков, которые таким путем могут добиться облегчения своей участи, а иногда даже и некоторой власти. Надо заметить, сын мой: чем обездоленнее мятежники и, следовательно, чем более они заслуживают оправдания, тем меньше у них шансов одержать победу. Изголодавшиеся, отупевшие, вооруженные только своей яростью, они не способны на широкие замыслы и осторожное предвидение, так что монарху нетрудно бывает их усмирить. Труднее подавить бунт людей знатных, который поистине внушает отвращение, ибо его нельзя оправдать необходимостью.

— А в конце-то концов, сын мой, внутренняя либо внешняя, война всегда омерзительна и полна зла, которое мне ненавистно.

XII

Армия

(Продолжение и конец)

— Сын мой, — добавил мой добрый учитель, — я сейчас покажу тебе, как ремесло этих несчастных солдат, которые будут служить королю, сочетает в себе позор и славу человека. Поистине война снова уводит нас вспять и возвращает к нашему природному зверству; она является следствием той свирепости, которая и роднит нас со зверями; я имею в виду не только львов или петухов, которые проявляют ее с такой великолепной гордостью, но и всяких птах вроде синиц или соек с их чрезвычайно драчливым нравом или даже насекомых, как осы и муравьи, которые сражаются с таким ожесточением, что даже у самих римлян не найти подобных примеров. Основные причины войны одни и те же, что у человека, что у зверя. И тот и другой бросается в драку, чтобы отнять либо удержать добычу, защитить свое гнездо или берлогу или завладеть самкой. В этом между ними нет никакой разницы, и похищение сабинянок в точности напоминает битвы оленей, которые по ночам орошают кровью лесные чащи. Мы только ухитрились приукрасить эти низменные и естественные побуждения понятием чести, которым и наделяем их безо всякого разбора. Если мы полагаем, что воюем ныне за какие-то высоко благородные цели, то все это благородство основывается исключительно на расплывчатости наших представлений. Чем менее ясна, проста и очевидна цель войны, тем гнуснее и омерзительнее война. А коли и вправду, сын мой, люди дошли до того, что убивают друг друга ради чести, то это — верх извращенности. Мы превзошли в жестокости диких зверей, ибо звери не причиняют друг другу зла без насущных причин. И правильно будет сказать, что человек в своих войнах злее и противоестественнее, чем быки и муравьи в своих драках. Но это еще не все. Войска ненавистны мне не столько тем, что они повсюду сеют смерть, сколько невежеством и глупостью, которые они приносят с собою. Нет худшего врага всякого искусства или науки, нежели военачальники наемных или добровольных отрядов, и обычно эти полководцы не менее невежественны в полезных науках, чем их солдаты. Привычка навязывать свою волю силой делает солдата неспособным к выразительной речи, которая рождается необходимостью убеждать людей. Поэтому солдат считает себя вправе

презирать слово и знания. Помнится мне, когда я был библиотекарем у господина епископа Сеэзского, знавал я одного старика полковника, поседевшего на ратной службе; он слыл храбрым воякой и гордился своим глубоким шрамом, который шел у него через все лицо. Это был бесшабашный удалец, который перебил на своем веку немало людей и изнасиловал не одну монашенку, но при этом безо всякой злобы. Он был знаток военного дела и строго следил за выправкой своего полка, который маршировал на парадах лучше всех других. А в общем, это был душевный малый и отличный товарищ, с которым приятно посидеть за бутылкой вина, как я имел случай убедиться в харчевне «Белого коня», где мы с ним нередко сживали вместе. Как-то раз вечером я пошел проводить его на занятия, которые заключались в том, что он учил своих солдат определять страны света по звездам. Сначала он огласил приказ господина де Лува касательно сего предмета^[43], и так как он его повторял наизусть вот уже лет тридцать, то прочел без запинки, вроде как «Отче наш» или «Богородицу». В приказе сем говорится, что солдатам надлежит прежде всего найти в небе Полярную звезду, поскольку она стоит неподвижно относительно других звезд, которые вращаются вокруг нее в направлении, обратном движению часовой стрелки. Но он сам плохо понимал, что он произносит, ибо, повторив два-три раза одну фразу весьма повелительным тоном, он вдруг наклонился к моему уху и прошептал:

— Черт возьми! аббат, да покажите вы мне эту шлюху — Полярную звезду! Разорви меня дьявол, но я не могу различить ее в этой куче огарков, которые понатыканы в небе.

Я тут же научил его, как надо находить звезду, и показал на нее пальцем.

«Ого! — воскликнул он, — высоко взмоглась, мерзавка! Отсюда, где мы стоим, нельзя и глядеть, вывихнешь шею!» И он тотчас же скомандовал своим офицерам отвести солдат на пятьдесят шагов назад, чтобы им легче было смотреть на Полярную звезду.

То, что я тебе рассказываю, сын мой, я слышал собственными ушами, и ты согласишься со мной, что у этого рубаки было довольно наивное представление о мироздании и, в частности, о звездных параллаксах. И, однако, он носил королевские ордена на своем великолепном расшитом мундире и пользовался в государстве гораздо большим почетом, нежели ученый служитель церкви. Вот этой-то грубости я и не переношу в военщине.

Тут мой добрый учитель остановился, чтобы перевести дух, и я спросил его, не думает ли он, что, невзирая на все невежество этого

полковника, надо как-никак иметь немало ума, чтобы выигрывать сражения. На это он мне ответил так:

— Турнеброш, сын мой, если подумать, каких трудов стоит собирать и вести за собой войска, сколько требуется знаний для атаки или обороны какого-нибудь места и сколько надобно сметливости, дабы успешно вести бой, то следует признать, что только почти сверхчеловеческий гений, каким обладал Цезарь, способен на такие дела, и диву даешься, что были на свете люди, которые совмещали в себе все качества истинного полководца. Хороший военачальник знает не только характер страны, но и нравы и занятия жителей. Он удерживает в памяти бесконечное количество мелких подробностей, из коих постепенно слагает себе обширное, ясное представление. Он может по внезапному вдохновению изменить молниеносно во время битвы планы, начертанные им заранее и тщательно обдуманые; он должен быть крайне осмотрительным и вместе с тем весьма отважным; мысль его то движется с глухой медлительностью крота, то взмывает ввысь подобно орлу. Все это действительно так. Но подумай, сын мой, когда два войска сталкиваются в бою, одно из них должно быть побеждено, откуда следует, что другое должно победить, даже если военачальник, командующий им, не обладает всеми достоинствами великого полководца или хотя бы одним из них. Я согласен, что бывают искусные полководцы, а бывают и просто удачливые, и слава их не меньше. Как в этих уму непостижимых стычках различить, что здесь от искусства, а что от удачи? Но ты заставил меня отклониться от предмета, Турнеброш, сын мой! Я хотел показать тебе, что ныне война — это позор человечества, а было время, когда она возвышала его. Навязанная государствам силой необходимости, она была великой наставницей рода человеческого. Благодаря ей люди воспитали в себе те добродетели, коими создаются и держатся города. Война научила людей терпению, стойкости, презрению к опасности и благородному самопожертвованию. В тот самый день, когда наши пращурьы своротили каменные глыбы и соорудили ограду, дабы, укрывшись за ней, защищать своих жен и быков, было положено основание первому человеческому обществу и обеспечено развитие ремесел. Великое благо, коим мы обладаем, — отчизна, родной город, священный Urbs^[44] чтимый римлянами превыше богов, — это дитя войны.

Первый город был укрепленной оградой; вот в этой-то грубой кровавой колыбели были взлелеяны великие законы, прекрасные ремесла, знания и мудрость. Вот почему истинный господь пожелал называться богом воинств.

Все это я говорю тебе, Турнеброш, сын мой, не для того, чтобы ты

записался в солдаты у этого сержанта-вербовщика и возымел желание стать героем и получать в среднем по шестьдесят палочных ударов в день.

В том-то и дело, что в нашем современном обществе война обратилась в наследственный недуг, в извращенное влечение к жизни дикарей, в преступное ребячество. Монархи наших дней, и в особенности покойный король, оставят по себе навеки позорную славу потому, что они превратили войну в игру и забаву своих дворов. Мне грустно подумать, что нам не дожить до конца этой заранее условленной бойни.

— Что же касается будущего, непроницаемого будущего, позволь мне, сын мой, представить его себе более сообразным присущему мне духу кротости и справедливости. Будущее — удобный приют для наших мечтаний! Там, как в стране Утопии^[45], мудрец с радостью предается своим построениям. Я хочу верить, что настанет время, когда народы обретут мирные добродетели. Возрастающая мощь орудий войны сама по себе позволяет мне прозреть отдаленное предзнаменование всеобщего мира. Армии увеличиваются непрестанно и в силе и в числе. Наступит день, когда они поглотят целые народы. И тогда это чудовище погибнет от обжорства. Оно слишком раздуется и лопнет.

XIII Академии

В этот день мы узнали, что епископа Сеэзского избрали членом Французской академии^[46]. Лет двадцать тому назад он выступил со славословием святому Маклу, и оно было признано достойным сочинением. Я охотно верю, что в нем были превосходные места, ибо г-н аббат Куаньяр, мой добрый учитель, немало потрудился над ним до того дня, как покинул епископство в обществе горничной г-жи ла Байлив. Г-н епископ Сеэзский — отпрыск старинного нормандского рода. Его благочестие, его погребя и его конюшни пользовались заслуженной славой во всем королевстве, а родной его племянник, тоже епископ, ведал списками церковных бенефиций. Избрание его никого не удивило. Оно было одобрено всеми, за исключением господ из кофейни Прокоп, которые никогда ничем не бывают довольны. Это — фрондёры.

Мой добрый учитель мягко побранил их за строптивый дух.

— На что сетует господин Дюкло?^[47] — сказал он. — Он со вчерашнего дня стал ровней епископу Сеэзскому, у которого лучший клир и лучшая псарня во всем королевстве. Ибо, согласно уставу, академики равны между собой^[48]. Правда, это дерзкое равенство сатурналий^[49], которое перестает существовать, как только заседание окончено и господин епископ садится в свою карету, предоставляя господину Дюкло пачкать шерстяные чулки в уличных лужах. Но если господин Дюкло не желает равняться таким образом с господином епископом Сеэзским, чего же он тогда якшается с этой чиновничьей знатью? Почему он не сидит в бочке, как Диоген, или в будке писца на кладбище святого Иннокентия, как я? Ведь только в бочке или в будке писца глядишь сверху вниз на суетное величие мира сего и становишься истинным монархом и полновластным владыкой. Блажен, кто не возлагает надежд на Академию! Блажен, кто живет, чуждый страха и желаний, и сознает тщету всего сущего. Блажен, кто постиг, что одинаково суетно быть академиком или не быть оным. Он ведет беспечально свою безвестную и глухую жизнь. Прекрасная свобода сопутствует ему всюду. Он справляет во мраке тихие празднества мудрости, и все музы улыбаются ему, как своему избраннику.

Так говорил мой добрый учитель, и я восхищался чистым вдохновением, звучащим в его голосе и сверкавшим в его очах. Но

беспокойство юности одолевало меня. Мне хотелось стать на чью-нибудь сторону, ввязаться в спор, объявить себя сторонником или противником Академии.

— Господин аббат, — спросил я, — разве это не долг Академии — привлекать к себе лучшие умы королевства, вместо того чтобы отдавать предпочтение дядюшке епископа, ведающего списком бенефициев?

— Сын мой, — кротко отвечал мне мой добрый учитель, — если епископ Сеэзский суров в своих пастырских наставлениях, а в жизни блестящ и любезен, если он является образцом для прелатов, и притом же произнес славословие святому Маклу, а вступительная часть оногo, где говорится об излечении королем Франции золотушных больных, признана высоко достойной, — неужели вы хотели бы, чтобы сие сообщество отвергло его только потому, что у него есть племянник, столь же влиятельный, сколь и обходительный? Поистине это было бы варварской добродетелью — покарать столь бесчеловечно епископа Сеэзского за величие его рода. Академия пожелала пренебречь этим обстоятельством. Это, сын мой, само по себе благородно.

Я осмелился возразить ему по своей юной запальчивости.

— Господин аббат, — сказал я, — не прогневайтесь, но я не могу согласиться с вашими доводами. Все знают, что епископ Сеэзский отличается необыкновенной легкостью характера, и если что и поражает в нем, так это его умение ладить с различными партиями. Все помнят, как он мягко изворачивался между иезуитами и янсенистами, расцветивая свою бледную осмотрительность розами христианского милосердия. Он полагает, что сделал достаточно, если никого не задел, а весь свой долг понимает в том, чтобы умножать свое состояние. Так что вовсе не возвышенностью духа завоевал он голоса знаменитых мужей, коим покровительствует король^[50], и не своим блестящим умом. Ибо, если не считать этого славословия святому Маклу, которое он (как это всем известно) только взял на себя труд произнести, сей кроткий прелат довольствовался для своих выступлений лишь жалкими проповедями своих викариев. Он привлекал к себе лишь учтивостью разговора да своей обходительностью. Но разве этих качеств достаточно для бессмертия?

— Турнеброш, — ласково отвечал мне г-н аббат, — ты рассуждаешь с тем простодушием, коим наделила тебя почтенная матушка, когда произвела на свет, и я предвижу, что ты надолго сохранишь сию младенческую невинность, с чем я могу тебя поздравить. Однако не годится, чтобы твоя невинность делала тебя несправедливым. Достаточно, если она оставит тебя в невежестве. Для бессмертия, кое только что

присуждено епископу Сеэзскому, не требуется быть ни Боссюэ, ни Бельзансом^[51]. Оно не высечено в сердцах потрясенных народов, но вписано в толстенную книгу, и ты должен твердо знать, что эти бумажные лавры не подходят лишь к доблестным головам.

Если среди этих Сорока встречаются люди, у которых больше учтивости, чем дарований, что же ты тут видишь дурного? Посредственность торжествует в Академии. А где она не торжествует? Разве она менее могущественна, скажем, в парламентах или в Королевском совете, где она, конечно, гораздо менее уместна? Да и нужно ли быть человеком исключительным, чтобы трудиться над словарем, который претендует создавать правила речи, но способен только следовать им?

Академисты, или академики, были заведены, как известно, для того, чтобы закрепить правильное словоупотребление в речи и очистить язык от всех загрязняющих его устарелых и простонародных выражений, дабы не появился, чего доброго, еще какой-нибудь новый Рабле или новый Монтень, от которых так и несет простонародьем^[52], деревенщиной либо школярством.

С этой целью собрали людей благородных, умеющих изъясняться как должно и писателей, коим полезно было научиться сему. Сначала были опасения, как бы эта компания не переделала насильственно весь французский язык. Но вскоре убедились, что опасаться нечего и что академики следуют обиходным правилам речи и отнюдь не намерены вводить новые. Невзирая на их запреты, все продолжали говорить, как говорили раньше: «Я закрываю дверь»^[53].

Ученая компания смирилась, и вскорости труды ее свелись к тому, чтобы заносить в толстый словарь различные видоизменения речи. Сие есть единственная забота Бессмертных^[54]. Покончив с делами, они на досуге, не прочь побеседовать между собой. Для этого им требуется, чтобы в их среде были приятные, покладистые, обходительные люди, любезные собратья, согласные друг с другом и хорошо знающие свет. А люди даровитые не всегда бывают таковыми. Гений частенько оказывается необщительным. Натура исключительная редко отличается изворотливостью. Академия сумела обойтись без Декарта и Паскаля. А кто станет утверждать, что она могла бы так же легко обойтись без господина Годо, или господина Конрара,^[55] или любого другого с таким же гибким, податливым и осторожным умом?

— Увы! — вздохнул я, — так, значит, это вовсе не синклит божественных мужей, не совет Бессмертных, не верховный ареопаг поэзии

и красноречия?

— Отнюдь нет, сын мой. Это сообщество, которое всегда и во всем соблюдает учтивость, этим оно и заслужило широкую известность у чужеземцев, и в особенности у московитов. Ты не представляешь себе, сын мой, какое благоговение внушает Французская академия немецким баронам, полковникам русской армии и английским лордам. Для этих европейцев нет ничего выше наших академиков и наших танцовщиц. Я знавал одну сарматскую княжну, девицу редкой красоты, которая проездом через Париж рьяно разыскивала какого ни на есть академика, дабы принести ему в дар свою невинность.

— Но ежели это так, — воскликнул я, — как же академики не боятся запятнать свою добрую славу дурным выбором, за который у нас так часто их порицают?

— Полно, Турнеброш, сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — не будем говорить дурно о дурном выборе. Прежде всего во всех делах человеческих следует отдавать должное случаю, а случай, если рассудить хорошенько, есть не что иное, как господний промысел здесь, на земле, единственный путь, коим открыто проявляет себя в здешнем мире божественное провидение. Ибо ты должен понимать, сын мой, что так называемые нелепые случайности и капризы судьбы на самом деле суть не что иное, как торжество божественной мудрости, которая смеется над советами лжемудрецов. А затем во всякого рода собраниях надо все же делать кой-какие уступки прихоти и фантазии. Общество, отличающееся совершенным здравомыслием, было бы совершенно невыносимо; оно зачахло бы под хладным игом справедливости. Оно не чувствовало бы себя ни сильным, ни просто свободным, если бы время от времени не услаждало себя приятной возможностью бросить вызов общественному мнению и здравому смыслу. Предаваться каким-нибудь чудачествам — это небольшой грех великих мира сего. Почему бы Академии не иметь своих причуд, как турецкому султану или красивым женщинам?

Немало противоречивых страстей действует сообща, дабы привести к этому дурному выбору, который возмущает простаков. Добрым людям доставляет удовольствие взять никчемного человека и сделать его академиком. Так, бог псалмопевца Давида возносит бедняка из грязи: *Erigen de stercore pauperem, ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui*^[56].

Такие необычайные события повергают в изумление народы, а те, кто их вершит, должны почитать себя облеченными таинственной и грозной силой. А какое удовольствие вытащить этакое малоумца из грязи и в то же

самое время пройти мимо какого-нибудь властителя дум! Ведь это значит испить сразу, одним глотком, редкий восхитительный напиток удовлетворенного милосердия и успокоенной зависти. Иначе говоря — насладиться всеми чувствами, полностью ублаготворить себя! И вы хотите, чтобы академики не соблазнились сладостью такого напитка!

Надо еще принять во внимание, что, доставляя себе столь изысканное наслаждение, академики вместе с тем действуют в собственных интересах. Общество, состоящее исключительно из великих людей, было бы весьма малочисленно и оказалось бы скучным. Великие люди не терпят друг друга и совсем лишены остроумия. Их полезно перемешать с маленькими людишками. Это их забавляет. Маленькие выигрывают от соседства, а великие — от сравнения; выгодно и тем и другим. И мы можем только удивляться, с какой безошибочной ловкостью и при помощи какого искусного механизма Французская академия ухитряется придать некоторым из своих членов весомость, которую она приобрела от других. Это такое скопление солнц и планет, где все блещет ярким светом, — не своим, так заимствованным.

Больше того. Дурной выбор просто необходим для существования этого общества. Если бы оно в своем выборе не допускало слабостей и ошибок, если бы оно иной раз не притворялось, что поступает наобум, оно внушило бы к себе такую ненависть, что не могло бы существовать. Оно стало бы в республике слова неким судилищем среди осужденных. Непогрешимое, оно было бы омерзительно. Какое оскорбление для всех, кого не приняла Академия, если бы избранник всегда был самым лучшим! Дочь Ришелье должна производить впечатление несколько легкомысленной, чтобы не казаться слишком заносчивой. Ее спасает то, что она взбалмошна. Ее несправедливость выгораживает ее, и так как мы знаем, что она капризна, то не обижаемся на нее; когда она нас отвергает. Ей иной раз так выгодно ошибаться, что я вопреки всем внешним признакам склонен думать, что она это делает нарочно. Она прибегает к восхитительным уловкам, дабы польстить самолюбию отвергнутых ею кандидатов. Бывает, что ее выбор обезоруживает зависть. И вот в этих-то ее мнимых ошибках и следует чтить истинную мудрость.

XIV

Бунтовщики

В этот день мы с моим добрым учителем зашли, как обычно, в лавку «Под образом св. Екатерины» и застали там знаменитого господина Рокстронга; взобравшись на самый верх стремянки, он рылся в старых книгах, до которых большой охотник. Ибо все знают, что, несмотря на свою беспокойную жизнь, он любит собирать редкие книги и хорошие гравюры.

Осужденный английским парламентом на пожизненное заключение за участие в заговоре Монмута^[57], он поселился во Франции и без конца посылал отсюда разные статьи в газеты своего отечества^[58]. Мой добрый учитель опустился, как всегда, на скамейку и поднял глаза на лесенку, по которой г-н Рокстронг сновал, словно белка, с проворством, сохранившимся у него и в преклонном возрасте.

— Слава богу! — промолвил аббат, — я вижу, господин бунтовщик, вы отлично себя чувствуете и все так же молоды.

Господин Рокстронг устремил на моего доброго учителя пылающий взор, озарявший его желчное лицо.

— А почему вы, толстый аббат, называете меня бунтовщиком? — спросил он.

— Я называю вас бунтовщиком, господин Рокстронг, ибо вы потерпели поражение. Побежденный — это бунтовщик. Победители никогда не бывают бунтовщиками.

— Аббат, вы рассуждаете с отвратительным цинизмом!

— Поостерегитесь, господин Рокстронг! Это изречение принадлежит не мне, оно принадлежит весьма великому человеку: я нашел его в сочинениях Юлия Цезаря Скалигера^[59].

— Ну, и что ж, аббат? Это скверные сочинения. А изречение его гнусно. Наше поражение, коему виной нерешительность нашего вождя и его слабость, за которую он поплатился жизнью, нисколько не умаляет правоты нашего дела. И честные люди, побежденные мошенниками, остаются честными людьми.

— Господин Рокстронг, мне горестно слышать, что вы в делах общественных различаете честных людей от мошенников. Такие простые определения годились для того, чтобы обозначить доброе и злое начала в битвах ангелов, происходивших на небесах до сотворения мира, кои ваш

соотечественник Джон Мильтон воспел с такой потрясающей грубостью^[60]. Но на нашем земном шаре враждующие страны никогда не бывают так уж точно разделены, чтобы можно было без предубеждения либо поблажки отличить воинство чистых от воинства нечистых, ни даже разобрать, какая сторона — правая, а какая — неправая. Так вот оно и выходит, что только успех и может быть единственным судьей правоты дела. Вы сердитесь, господин Рокстронг, что я называю бунтовщиком того, кто побежден. Однако, когда вам случилось добиться власти, вы ведь не потерпели бунта.

— Аббат, вы сами не понимаете, что говорите. Мне всегда не терпелось перейти на сторону побежденных.

— Это правда, господин Рокстронг, вы прирожденный, исконный враг государства. Вы закоснели в своей вражде, ибо вами владеет дух, который наслаждается уничтожением и коему доставляет удовольствие разрушать.

— Аббат, вы, считаете это преступлением?

— Господин Рокстронг, будь я государственным мужем и другом монарха подобно господину Роману, я считал бы вас величайшим злодеем. Но не так уж я пылко привержен культу политики, чтобы меня повергала в ужас громкая молва о ваших злодеяниях и покушениях, которые вызывают больше шума, чем причиняют зла.

— Аббат, вы безнравственный человек!

— Не судите меня за это слишком строго, господин Рокстронг, ибо только благодаря этому человек и становится снисходительным.

— На что мне ваша снисходительность, толстый аббат, если вы делите ее между мной, который является жертвой, и этими негодьями из парламента, осудившими меня с гнуснейшей несправедливостью!

— Вы шутник, господин Рокстронг! Говорить о несправедливости лордов!

— А разве она не вопиет к небу?

— Все это, конечно, верно, господин Рокстронг; вас осудили по нелепому обвинительному заключению лорда-канцлера за найденное у вас собрание пасквилей, из коих ни один, в частности, не подлежит преследованию по английским законам; верно и то, что в стране, где разрешается писать все, что угодно, вы понесли наказание за несколько едких статеек; верно и то, что ваше осуждение приняло несколько необычные и своеобразные формы, торжественное лицемерие коих плохо маскировало невозможность осудить вас согласно закону; судившие вас лорды были весьма заинтересованы в том, чтобы разделаться с вами, ибо победа Монмута и ваша неминуемо вышибла бы их из парламентских

кресел. Верно, что ваше осуждение было предрешиено заранее в Королевском совете. Верно, что вы своим бегством избавились от своего рода мученичества, правду сказать, не такого уж большого, но тягостного, ибо пожизненное заключение — это мука, даже когда есть разумные основания надеяться, что вскорости освободишься. Но во всем этом нет ни справедливости, ни несправедливости. Вас осудили из соображений государственной пользы. И это весьма почетно. И многие из тех лордов, которые вас осудили, участвовали с вами в заговорах лет двадцать тому назад. Ваше преступление заключалось в том, что вы внушили страх людям высокопоставленным, а такое преступление не прощается. Министры и их друзья вопиют о гибели отечества, когда что-либо угрожает их благосостоянию и положению. Они почитают себя необходимыми для сохранения целостности государства, ибо в большинство случаев эти люди корыстные и чуждые философии. Но это еще не значит, что они дурные. Они — люди. И этим достаточно объясняется их жалкая посредственность, их глупость и скаредность. Но кого же вы противопоставляете им, господин Рокстронг? Других — таких же посредственных, но еще более алчных, ибо они больше изголодались. Народ лондонский терпел бы их, как терпит других. Он ждал вашей победы либо вашего поражения, дабы принять ту или иную сторону. И тем самым доказал свою необычайную мудрость. Народ чрезвычайно осмотрителен, когда он видит, что от перемены хозяина он ничего не выиграет и не проиграет.

Так говорил аббат Куаньяр, а г-н Рокстронг, с пылающим лицом, сверкая очами из-под огненного своего парика, закричал ему с лестницы, размахивая руками:

— Аббат! Я понимаю мошенников! И всех этих плутов из министерства и парламента. Но я не понимаю вас, — как вы, безо всякой для себя корысти, просто по злобе, защищаете правила поведения, которых сами они придерживаются лишь потому, что им это выгодно. Выходит, вы хуже их, ибо поступаете так же, не будучи заинтересованным. Это выше моего понимания, аббат!

— Это показывает, что я философ, — мягко отвечал мой добрый учитель. — Такова уж природа истинных мудрецов — раздражать всех других людей. Блестящий пример тому — Анаксагор. Я не называю Сократа, ибо он был просто-напросто софист. Но мы видим, что во все времена и во всех странах суждения созерцательного ума были предметом поношения. Вы полагаете, господин Рокстронг, что сильно отличаетесь от ваших недругов и что вы столь же любезны людям, сколь они ненавистны. Позвольте мне сказать вам, что это — чистейшее заблуждение, плод вашей

гордыни и вашего высокомерного духа. В действительности вы в такой же мере, как и осудившие вас, подвержены всем слабостям и всем страстям человеческим. Если вы и честнее многих из них и обладаете непревзойденной живостью ума, — вами владеет дух ненависти и раздора, а это делает вас крайне несносным в просвещенном государстве. Ремесло газетчика, в коем вы столь преуспели, изощрило до крайности необычайную пристрастность вашего ума, и вы, жертва несправедливости, сами отнюдь не отличаетесь справедливостью. То, что я сейчас говорю, рассорит меня, чего доброго, и с вами и с вашими врагами, и я совершенно уверен, что никогда сановник, ведающий бенефициями, не даст мне ни аббатства, ни доходного монастыря, но для меня свобода мысли дороже доходного места. Пусть я восстанавливал против себя всех, но я ублажал душу свою и умру спокойно.

— Аббат! — усмехаясь, сказал г-н Рокстронг, — я вас прощаю, потому что, мне кажется, вы немного свихнулись. Для вас нет разницы между мошенниками и порядочными людьми, — по-вашему, свободный строй ничуть не лучше деспотического и беззаконного правления. У вас какое-то странное помешательство.

— Господин Рокстронг, — сказал мой добрый учитель, — пойдемте разопьем бутылочку у «Малютки Бахуса», и я за стаканом вина расскажу вам, почему мне совершенно безразлична форма правления и каковы причины, которые отбивают у меня охоту менять господ.

— С удовольствием! — отвечал г-н Рокстронг. — Я не прочь выпить с таким сумасбродным резонером!

Он ловко соскочил с лесенки, и мы все трое отправились в кабачок.

XV

Государственные перевороты

Господин Рокстронг был умный человек и не сердился на моего доброго учителя за его чистосердечие. Когда хозяин «Малютки Бахуса» подал на стол кувшин с вином, памфлетист поднял свой стакан и в шутовском тоне провозгласил тост за здоровье г-на аббата Куаньяра, величая его мошенником, другом грабителей, столпом тирании и старой канальей. Мой добрый учитель от всей души ответил ему такой же любезностью, предложив выпить за здоровье человека, который сохранил свой природный нрав не испорченным никакой философией.

— А вот что касается меня, — добавил он, — я прекрасно сознаю, что ум мой совершенно отравлен размышлением. И так как мыслить сколько-нибудь глубоко отнюдь не в природе человека, я признаю, что это моя склонность к размышлениям — нелепая и весьма неудобная привычка. Прежде всего она делает меня совершенно неспособным действовать, ибо действие требует ограниченности взглядов и узости суждений. Вы сами удивились бы, господин Рокстронг, ежели могли бы представить себе жалкое скудоумие гениев, которые потрясли мир. Завоеватели и государственные мужи, изменявшие лицо земли, никогда не задумывались над природой существ, коими они распорядились как хотели. Они целиком замыкались в узких пределах своих широких замыслов, и самые мудрые из них допускали в поле своего зрения лишь очень немногие предметы. Взять, например, такого человека, как я, господин Рокстронг, я бы не мог поставить себе целью ни завоевать Индию, как Александр, ни основать какое-либо государство и управлять им, ни, вообще говоря, пуститься в какую-нибудь из тех грандиозных затей, которые искушают гордость мятежной души. Я с первых же шагов запутался бы в размышлениях и в каждом из своих поступков находил бы основание для того, чтобы остановиться.

Затем, оборотившись ко мне, мой добрый учитель сказал, вздохнув:

— Мыслить — это тяжкий недуг. Да избавит тебя от него бог, Турнеброш, сын мой, как избавил он своих величайших святых и тех, удостоенных его особой любви, кого он избирает для славы вечной. Люди, которые думают мало или не думают вовсе, счастливо устраивают дела свои как в здешнем, так и в ином мире, а тому, кто мыслит, вечно угрожает опасность погубить себя и телесно и духовно, — так много лукавства

таится в мысли! Помни с трепетом, сын мой, что ветхозаветный змий — это самый древний из философов и вечный их владыка.

Господин аббат Куаньяр поднес к губам стакан с вином и, сделав изрядный глоток, продолжал вполголоса:

— И вот потому-то, памятуя о спасении души своей, я одного во всяком случае никогда не тщился постигнуть разумом: я никогда не дерзал размышлять о святых истинах нашей веры. По несчастью, я размышлял над поступками людей и над городскими нравами, а посему я уже недостойн быть губернатором острова, как Санчо Панса.

— Вот счастье-то! — смеясь, воскликнул г-н Рокстронг. — Не то бы ваш остров стал вертепом разбойников и грабителей, где преступники судили бы невинных, если бы оные там ненароком оказались.

— Вот и я так думаю, господин Рокстронг, — подхватил мой добрый учитель, — и я так думаю. Весьма вероятно, что ежели бы я управлял новым островом Баратария, там были бы такие нравы, как вы говорите. Вы сейчас одним штрихом нарисовали картину всех государств на свете. Я понимаю, что и мое было бы не лучше остальных. Я нисколько не обольщаюсь относительно людей. И чтобы не возненавидеть их, я их презираю. Я презираю их любовно, господин Рокстронг. Но они вовсе не питают ко мне за то признательности. Они хотят внушать ненависть. Они сердятся, когда им высказываешь самое мягкое, милосердное, доброе и милое, самое человеческое из чувств, какое они только могут внушать: презрение. А ведь взаимное презрение— это мир на земле, и если бы люди искренно презирали друг друга, они не стали бы никому причинять зла и жили бы в приятном спокойствии. Все бедствия просвещенных обществ проистекают оттого, что граждане их чересчур о себе мнят и воспитывают свою честь, словно какое-то чудовище, на несчастьях плоти и духа. Это чувство делает их надменными и жестокими, а я ненавижу гордость, которая требует, чтобы человек чтил себя и почитал других, как будто кто-либо из потомков Адама достоин почитания! Животное, которое ест и пьет — кстати, дайте-ка мне выпить! — и предается любви, — это нечто жалкое, хотя, быть может, и занятное, а подчас и не лишенное приятности. Но почитать его — это уж какой-то совершенно бессмысленный, дикий предрассудок. Из него-то и проистекают все бедствия, которые нам приходится терпеть. Это отвратительнейший вид идолопоклонства; и чтобы обеспечить людям более или менее спокойное существование, их нужно прежде всего вернуть к сознанию их собственного ничтожества. Они будут счастливы, когда, уразумевши вновь, что они собою представляют, проникнутся презрением друг к другу и из этого

всеобъемлющего презрения никто не посмеет исключить самого себя.

Господин Рокстронг пожал плечами.

— Вы свинья, мой толстый аббат, — сказал он.

— Вы льстите мне, — отвечал мой добрый учитель, — я всего лишь человек и чувствую в себе самом зародыш этой ненавистной мне едкой гордыни, этого чванства, которое толкает людей на поединки и войны. Бывают минуты, господин Рокстронг, когда я готов головой рискнуть за свои убеждения, а ведь это же безумие. Потому что в конце-то концов кто может мне доказать, что я рассуждаю лучше вас, а ведь вы-то совсем плохо рассуждаете. Дайте-ка мне выпить.

Господин Рокстронг любезно наполнил стакан моего доброго учителя.

— Аббат! — сказал он, — вы не в своем уме, но вы мне нравитесь, и я бы хотел понять, что, собственно, вы порицаете в моей общественной деятельности и почему вы ополчаетесь против меня и становитесь на сторону моих врагов, тиранов, обманщиков, грабителей и продажных судей.

— Господин Рокстронг, — отвечал мой добрый учитель, — позвольте мне прежде всего с благодетельным безразличием распространить на вас, ваших друзей и ваших врагов это столь мирное чувство, которое только и может прекратить ссоры и принести успокоение. Позвольте мне не возвышать настолько ни тех, ни других, чтобы считать их заслуживающими преследования закона и призывать кары на их головы. Люди, что бы они ни делали, всегда остаются невинными младенцами, и я предоставляю господину лорду-канцлеру, осудившему вас, разглагольствовать в духе Цицерона о государственных преступлениях. Я не поклонник речей против Каталины, от кого бы они ни исходили. Мне только грустно видеть, что такой человек, как вы, тратит свое время на то, чтобы переменить форму правления. Это самое пустое и самое суетное занятие, какое только можно придумать для своего разума, и бороться с людьми, стоящими у власти, просто бессмыслица, если только это не дает вам средств к существованию и не помогает пробить себе дорогу. Дайте-ка мне выпить! Подумайте, господин Рокстронг, ведь эти внезапные изменения государственного строя, которые вы замышляете, — просто смена людей, а ведь люди по природе своей все похожи один на другого, все одинаково посредственны как в добре, так и во зле, поэтому заменить сотни две-три министров, губернаторов провинций, казначейских чиновников, председателей суда двумя-тремястами других — значит ровно ничего не сделать, а просто лишь на место Поля и Ксавье посадить Филиппа и Барнабе. А чтобы наряду с этим изменить, как вы надеетесь, и самые условия жизни людей,

это никак невозможно, ибо условия эти зависят не от министров, которые ничего не значат, а от земли и ее плодов, от промышленности, ремесел, торговли, от богатств, накопленных в государстве, от способности граждан к вывозу и обмену товаров, — словом, от множества обстоятельств, которые — хороши они или плохи — не зависят ни от монарха, ни от его чиновников.

— Но как же вы не понимаете, мой толстый аббат, — горячо перебил моего доброго учителя г-н Рокстронг, — что состояние промышленности и торговли зависит от государственного управления и что прочные финансы могут быть только в свободном государстве?

— Свобода, — возразил г-н аббат Куаньяр, — это лишь результат богатства граждан, которые сбрасывают с себя цепи, как только становятся достаточно сильными, чтобы быть свободными. Народы достигают свободы в той мере, в какой они могут ею пользоваться, или, лучше сказать, они властно требуют установлений, которые закрепляют за ними права, завоеванные их усилиями.

Всякая свобода исходит от самих народов и их собственных движений. Любой, даже самый произвольный их поступок ведет к расширению формы, какую, облекая их, принимает государство^[61]. И потому можно сказать, сколь ни отвратительна тирания, она существует лишь тогда, когда вызвана необходимостью, а деспотическая форма правления есть не что иное, как тесная оболочка, облекающая слишком хилое и недоразвитое тело. И разве не ясно, что так называемое государственное управление подобно коже у животного, которая лишь облекает тело, но отнюдь не определяет его строения.

Вы же все почитаете кожу, совсем забывая о внутренностях, а это, господин Рокстронг, показывает ваше незнание натуральной философии.

— Выходит, для вас нет никакой разницы между свободным государством и правлением тирана, все это вместе для вас, мой толстый аббат, — просто скотская шкура? Вы даже не видите, что расточительство монарха и хищничество его министров ведут непрерывно к росту податей, а это в конце концов может довести до полного упадка земледелия и истощить торговлю,

— Господин Рокстронг, ведь для одной и той же страны в одно и то же время возможен лишь один образ правления, подобно тому как у животного может быть только одна шкура. Изменять государственный строй и исправлять законы следует предоставить времени, а, как сказал некто, время — это человек обязательный. И оно трудится над этим с неутомимой и милосердной медлительностью.

— А вам не кажется, мой толстый аббат, что следует помочь этому старцу, который посиживает себе на часах с косою в руке? Вы не думаете, что революция вроде той, что произошла в Англии или Нидерландах, оказывает какое-то действие на положение народов? Нет? Так на вас, старого дурня, следовало бы натянуть зеленый колпак!

— Революции, — возразил мой добрый учитель, — совершают затем, чтобы сохранить нажитое добро, а не затем, чтобы добыть новое. И со стороны народов и с вашей стороны, господин Рокстронг, это безрассудство — возлагать какие-то надежды на свержение монарха. Народы восстают время от времени, дабы закрепить за собой вольности, когда им грозит опасность лишиться их. Но они никогда не обретают этим новых вольностей. Они удовлетворяются обещаниями. Поистине достойно удивления, господин Рокстронг, с какой легкостью люди идут на смерть из-за пустых слов, лишенных всякого смысла. Это еще Аякс заметил. Вот как поэт говорит его устами: «Я думал, в юности деянье слов сильнее, но ныне вижу я — могущественней слово». Так говорил Аякс, сын Ойлея. Господин Рокстронг, я умираю от жажды!

XVI

История

Господин Роман положил на прилавок с полдюжины томов.

— Прошу вас, господин Блезе, — сказал он, — распорядитесь, пожалуйста, доставить мне эти книги на дом. Тут у меня: «Мать и сын», «Мемуары о французском дворе», а сверх того, «Завещание Ришелье». Я буду вам весьма признателен, если вы не откажете добавить к этому все, что у вас получено нового по истории, в особенности по истории Франции со времени кончины Генриха Четвертого. Эти работы меня чрезвычайно интересуют.

— Вы правы, сударь, — заметил мой добрый учитель. — В исторических сочинениях много всяких пустячков, которые могут весьма позабавить порядочного человека; там наверняка можно найти немало занятных анекдотов.

— Господин аббат, — отвечал г-н Роман. — Я ищу в трудах историков не какой-то пустой забавы. История — это высоко поучительный урок, и я очень досажую, когда обнаруживаю, что истина в ней иной раз переплетается с вымыслом. Я изучаю поступки человеческие, дабы извлечь пользу для правителей народа, — ищу в истории законы управления.

— Слышал, слышал, сударь, — сказал мой добрый учитель. — Ваш трактат «О монархии» достаточно известен, и по нему можно заключить, что вы представляете себе политику как некий вывод из исторических сочинений.

— И вот таким-то образом, — сказал г-н Роман, — я первый указал монархам и министрам правила, коим они должны следовать, дабы избежать опасностей.

— Поэтому-то вы и представлены, сударь, на заглавном листе книги в образе Минервы, преподносящей юному королю зеркало, которое вручает вам муза Клио^[62], парящая над вашей головой в кабинете, украшенном бюстами и картинами. Но позвольте мне сказать вам, сударь, что сия муза — лгунья и она протягивает вам кривое зеркало. В исторических сочинениях мало правды, и не вызывают споров только те факты, которые известны нам из одного-единственного источника. Историки, — стоит им только заговорить об одном и том же, — всегда противоречат друг другу. Мало того! Мы видим, как Иосиф Флавий, пересказывающий одни и те же

события в «Древностях» и в «Иудейской войне», излагает их по-разному в этих двух сочинениях. Тит Ливий — тот просто собиратель разных сказок, а Тацит, ваш оракул, производит на меня впечатление надменного лгуна, который с важным видом издевается над всеми. А вот кого я ценю, так это Фукидида, Полибия и Гвиччардини. Что же касается нашего Мезерэ, он и сам не знает, что плетет, так же как Вильяре и аббат Вели. Но я нападаю на историков, а на самом-то деле порицать следует историю.

Что такое история? Собрание нравоучительных сказок или красноречивая смесь повествования и разглагольствований, в зависимости от того, философ ли историк, или оратор. Тут можно встретить недурные образцы красноречия, но нечего искать правды, ибо правда заключается в раскрытии необходимых связей между явлениями, а историк не в состоянии установить эти связи, ибо он лишен возможности проследить всю цепь причин и следствий. Заметьте, что всякий раз, когда причиной какого-нибудь исторического события является событие не исторического масштаба, история не видит этой причины. А так как исторические события тесно переплетаются с событиями не исторического масштаба, то вот и получается, что в исторических сочинениях они не следуют одно за другим естественным порядком, а связываются чисто искусственными приемами риторики. И заметьте еще, что различия между событиями, которые входят в историю, и теми, которые в нее не входят, совершенно произвольны. Из этого следует, что история не только не наука, но, по свойственному ей несовершенству, неизбежно должна тяготеть к неточности вымысла. Ей всегда будет недоставать той связности и последовательности, без коих немислимо истинное познание. Итак, вы видите, что из летописей какого-нибудь народа нельзя вывести никаких предубждений на будущее. Меж тем отличительное свойство науки — ее способность предрекать, как это видно по таблицам, где исчислены заранее фазы луны, приливы, отливы и солнечные затмения, — революции же и войны никаким вычислениям не поддаются.

Господин Роман пояснил аббату Куаньяру, что он большего и не требует от истории; пусть это будут хотя бы смутные истины, не совсем точные, перемешанные с вымыслом, они все равно чрезвычайно для него ценны, поскольку предмет, о котором они трактуют, это сам человек.

— Я знаю, — добавил он, — летописи человеческие полны небылиц и всяческих искажений. Но даже при отсутствии тесной связи между причинами и следствиями я прозреваю в них какой-то единый замысел, который подобно развалинам храмов, что наполовину погребены под землей, то виден ясно, то снова теряется, а уж одно это кажется мне

неоценимым. Я твердо надеюсь, что когда-нибудь история будет опираться на обширные материалы и следовать строгой методе, и вот тогда-то она не уступит в точности естественным наукам.

— Нет, это вы зря надеетесь, — сказал мой добрый учитель. — Я думаю, напротив, что изобилие мемуаров, переписки и архивных документов только осложнит труд будущего историка. Господин Элуорд, который всю жизнь занимается изучением английской революции, уверяет нас, что человек за целую жизнь не успеет прочесть и половины всего того, что было написано в эти смутные времена. Мне вспоминается предание на сей счет, которое я слышал от господина аббата Бланше. Я вам расскажу его так, как оно сохранилось у меня в памяти, но жаль, что вы не можете услышать его из уст самого господина аббата Бланше, — он человек остроумный.

Вот это нравоучительное предание: «Когда юный принц Земир вступил на престол Персии после смерти своего отца, он созвал всех ученых мужей своего царства и, когда они собрались, сказал им так:

— Мудрый Зеб, мой наставник, внушал мне, что властители мира не впадали бы столь часто в заблуждения, если бы они учились на примерах прошлого. А посему я хотел бы изучить летописи народов. Повелеваю вам составить свод всемирной истории и не упустить ничего, дабы он был полным.

Ученые обещали удовлетворить желание повелителя и, вернувшись к себе, тотчас же принялись за работу. Спустя двадцать лет они предстали пред своим владыкой, приведя с собой целый караван из двенадцати верблюдов, из коих каждый был нагружен ношей в пятьсот томов... Непременный ученый секретарь тамошней академии простерся ниц на ступенях трона и обратился к своему повелителю с такой речью:

— Всемилостивейший государь! Академики вашего царства имеют несказанную честь повергнуть к стопам вашим всемирную историю, каковая была составлена ими по указанию вашего величества. Она состоит из шести тысяч томов и заключает в себе все, что только возможно было собрать о нравах и обычаях народов и судьбах государств. Мы включили в нее древние хроники, счастливо уцелевшие до нашего времени, и снабдили их обширными примечаниями по части географии, хронологии и палеографии. Одни только вводные рассуждения составляют кладь одного верблюда, а пояснения с трудом удалось навьючить на другого.

Царь отвечал так:

— Благодарю вас за ваше усердие, достойные мужи. Но я слишком занят государственными делами. К тому же, пока вы трудились, я успел

приблизиться к старости. Я достиг, как сказал один персидский поэт, середины жизненного пути, и даже если предположить, что я скончаюсь в самых преклонных годах, все равно у меня не может быть надежды прочесть до конца дней своих столь длинную историю. Мы будем хранить ее в наших царских архивах. Потрудитесь составить для меня сжатое изложение, более сообразное краткости жизни человеческой.

Академики Персии трудились еще ровно двадцать лет; затем они привезли царю полторы тысячи томов на трех верблюдах.

— Государь! — молвил неперменный секретарь еле слышным голосом, — вот наш новый труд. Мы надеемся, что не упустили в нем ничего существенного.

— Возможно, — отвечал владыка, — но я не стану его читать. Я стар, большие начинания не по моим годам. Сократите еще, да поторопитесь!

На этот раз они не медлили и через каких-нибудь десять лет явились с молодым слоном, который нес на себе пятьсот томов.

— Смею надеяться, что на сей раз я был краток, — сказал неперменный секретарь.

— Нет, недостаточно, — отвечал владыка. — Жизнь моя подходит к концу. Сократите, сократите еще, если вы хотите, чтобы я до своей кончины познал историю рода человеческого.

Через пять лет неперменный секретарь снова явился во дворец. Он едва ковылял на костылях и вел за собой в поводу маленького ослика, который тащил на спине громадную книгу.

— Поторопитесь, — шепнул ему придворный, — государь умирает.

И действительно, царь лежал на смертном одре. Он устремил на академика и его огромную книгу свой уже почти потухший взор и молвил, вздохнув:

— Так я и умру, не узнав истории людей!

— Государь! — ответил ему ученый, который и сам чувствовал приближение смерти. — Я вам изложу ее в трех словах: ОНИ РОЖДАЛИСЬ, СТРАДАЛИ И УМИРАЛИ.

Так в свой смертный час персидский царь узнал историю рода человеческого».

XVII

Господин Никодем

В то время как мой добрый учитель, взобравшись на верхнюю ступеньку лесенки в лавке «Под образом св. Екатерины», услаждал себя чтением Кассиодора, в лавку вошел какой-то важный старик с суровым взглядом.

Он направился прямо к г-ну Блезю, который, улыбаясь, высунулся из-за своей конторки.

— Сударь, — сказал ему старик, — вы присяжный книготорговец, а посему я могу почитать вас человеком добрых нравов. А между тем у вас в окне выставлен том «Сочинений Ронсара», открытый на заглавном листе, на коем изображена нагая женщина. А это недопустимое зрелище.

— Извините меня, сударь, — мягко возразил господин Блезю, — это рисунок Леонарда Готье, который в свое время почитался весьма искусным гравером.

— Меня не занимает, искусный он гравер или нет, — возразил старец, — я вижу только, что он изображает нагое тело. Эта женщина не прикрыта ничем, кроме своих волос, и меня крайне удивляет и огорчает, сударь, что такой почтенный, рассудительный человек, каким я вас считал, позволяет себе выставлять сие напоказ молодым людям, проходящим по улице святого Иакова. Вы хорошо сделаете, если сожжете такую книгу, последовав примеру отца Гарасса, который употребил все свое состояние на то, что скупал, дабы предать огню, множество сочинений, противных добрым нравам и Обществу Иисуса. И уж по меньшей мере вам следовало бы, пристойности ради, спрятать ее в самом укромном углу вашей лавки, где, как я опасаюсь, у вас, наверно, хранится немало книг, которые своим содержанием и рисунками могут толкнуть людей на распутство.

Господин Блезю, вспыхнув, отвечал, что это — несправедливое подозрение и что ему обидно слышать подобные речи от порядочного человека.

— Я вынужден, — отвечал старец, — открыть вам, кто я таков. Вы видите перед собой господина Никодема, председателя Общества целомудрия. Ратуя за скромность, я поставил себе целью превзойти в щепетильности распоряжения господина начальника полиции. И, заручившись помощью двенадцати судейских чиновников и двухсот церковных старост из наших главных приходов, я прикрываю наготу

статуй, выставленных в общественных местах — на площадях, бульварах, набережных, на улицах, в парках, тупиках и переулках. И, не ограничиваясь тем, что я водворяю скромность в уличной жизни, я радею о том, чтобы она воцарилась в гостиных, кабинетах и спальнях, откуда ее постоянно изгоняют. Знайте, сударь, что учрежденное мною общество заготовило для молодоженов особый сорт приданого, в коем имеются широкие длинные сорочки с маленьким отверстием, дабы позволить юным супругам благопристойно приступить к исполнению воли божией относительно того, что человекам надлежит плодиться и размножаться. А дабы сочетать, если можно так выразиться, изящество со строгостью нравов, оные отверстия отделаны по краям приятно для глаз вышивкой. Я горжусь тем, что мне удалось изобрести такие интимные одеяния, которые как нельзя более споспешествуют превращению каждой четы новобрачных в Сарру и Товию^[63] и очищают таинство брака от всякого блуда, который с ним, к сожалению, связан.

Мой добрый учитель, который, уткнувшись в Кассиодора, прислушивался к этой беседе с высоты своей лесенки, заметил самым серьезным тоном, что он находит это изобретение прекрасным и достойным всяческих похвал, но что ему пришла в голову еще более блестящая мысль.

— Хорошо бы, — сказал он, — натирать юных новобрачных перед соитием с головы до ног самой черной ваксой, чтобы кожа их, уподобившись сапожной, отравляла греховные наслаждения и утехи плоти и оказывалась трудно одолжимым препятствием для всяких ласк, поцелуев и нежностей, коим обычно предаются влюбленные в постели.

При этих словах г-н Никодем поднял голову и, увидев на лесенке моего доброго учителя, догадался по его лицу, что тот смеется над ним.

— Господин аббат, — сказал он со сдержанным негодованием, — я мог бы извинить вас, ежели бы ваши насмешки задевали только меня. Но вы, сударь, глумитесь в то же время и над скромностью и добрыми нравами, а это непροстительно. Вопреки всем злоязычникам общество, основанное мною, совершило уже немало добрых и полезных дел. Смейтесь, сударь! А мы уже нацепили шесть сотен фиговых и виноградных листков на статуи в королевских парках.

— Это замечательно, сударь, — отвечал мой добрый учитель, поправляя очки, — и если вы и дальше так будете действовать, скоро все наши статуи оденутся пышной листвой. Но, поелику всякий предмет обретает для нас смысл только в связи с тем представлением, какое он в нас вызывает, то, прилепляя фиговые и виноградные листья к статуям, вы

придаете характер непристойности этим самым листьям; вот и получится, что нельзя будет мимоходом бросить взгляд на виноградную лозу или на смоковницу без того, чтобы тотчас же не представить себе что-то неприличное, а это большой грех, сударь, навлекать срамоту на ни в чем не повинные деревья. Позвольте мне еще сказать вам, что весьма опасно придирается так, как вы это делаете, ко всему, что может волновать или беречь плоть, ибо вы забываете о том, что если некое изображение может кого-то совратить, то каждый из нас, носящий в себе самом подлинник одного изображения, должен совратить самого себя, ежели только он не кастрат, о чем даже и помыслить страшно.

— Милостивый государь, — возразил не без раздражения старец Никодем, — я вижу по вашим речам, что вы вольнодумец и распутник.

— Я христианин, сударь, — отвечал мой добрый учитель, — а что касается распутства, где уж мне об этом думать, когда каждый день надо зарабатывать на хлеб, на вино и на табак. Человек, которого вы видите перед собой, сударь, если и позволяет себе предаваться каким-либо оргиям, то лишь молчаливым оргиям размышления, и единственное пиршество, в коем я принимаю участие, — это пиршество муз. Но, рассуждая здраво, я полагаю, что нехорошо стараться превзойти в стыдливости учение нашей католической церкви, которая в этом отношении предоставляет верующим большую свободу и не гнушается народными обычаями и поверьями. Мне думается, сударь, вы заражены кальвинизмом и впадаете в ересь иконоборцев, ибо, как знать, не дойдете ли вы в своем рвении до того, что станете сжигать образы господа бога и святых из ненависти к человеческой природе, которая проглядывает в их чертах. Все эти слова — скромность, стыдливость, благопристойность, которые из вас так и сыплются, не имеют в сущности никакого точного определенного и постоянного смысла. Только обычай и чувство могут определить его более или менее разумно и правильно. Разбираться в таких тонкостях способны, по-моему, разве что поэты, художники да красивые женщины. Что за нелепая идея — собрать кучку прокуроров в качестве судей над грациями и наслаждениями!

— Мы, сударь, ничего не имеем против граций и веселья, — возразил старец Никодем, — а еще того менее против ликов господа и святых угодников, и вы зря нападаете на нас. Мы люди благопристойные и хотим уберечь сыновей своих от непотребных зрелищ, а что пристойно и что непристойно, — это всякому известно. Что ж вы хотите, господин аббат, чтобы наши дети подвергались на улицах всевозможным соблазнам?

— Ах, сударь! — отвечал мой добрый учитель, — люди должны подвергаться соблазнам! Таков удел человека и христианина здесь, на

земле. И самые страшные соблазны — в нас самих, а не вовне. И вы не стали бы прилагать столько усилий и стараний, чтобы убрать с выставки несколько картинок с голыми женщинами, если бы подобно мне размышляли над житиями святых отцов-пустынников. Вы увидели бы тогда, как в своем невообразимом уединении, вдали от каких бы то ни было лепных или живописных изображений, истерзанные власяницей, замученные непрерывным самоистязанием, изнуренные постом, эти отшельники, корчась на своем тернистом ложе, чувствовали, как их пронзает жало плотских желаний. Перед ними в их убогой келье вставляли картины, в тысячу раз более соблазнительные, чем эта возмущившая вас аллегория на витрине господина Блезо. Дьявол (или, как говорят вольнодумцы, Природа!) — куда более великий мастер живописать сладострастные сцены, нежели сам Джулио Романо^[64]. Позы, движение, краски — во всем этом он далеко превзошел итальянских и фламандских мастеров. И тут уж вы ничего не поделаете с этими распалющимися картинами! А если сравнить с ними те, что вас возмущают, так это сущая безделица, и с вашей стороны разумней было бы предоставить господину начальнику полиции печься о чистоте общественных нравов в согласии с гражданами. По правде сказать, меня удивляет ваша наивность: вы плохо представляете себе, что такое человек, что такое человеческое общество и как бушует плоть людская в большом городе. О невинные старцы! Ужели посреди всего этого вавилонского блуда, где на каждом шагу из-за спущенной занавески сверкают плечи и жадные взоры непотребных женщин, где на площадях, в толчее, люди трутся друг о друга и тела их распалются похотью, вы можете сетовать и негодовать на несколько никчемных картинок, выставленных в лавке книгопродавца, и не стесняетесь обращаться с вашими жалобами в королевский парламент, когда какая-нибудь бойкая девица задерет ногу на балу и покажет молодым людям свои ляжки, что, кстати сказать, кажется им вполне естественным.

Так говорил мой добрый учитель, стоя на своей лесенке. Но господин Никодем затыкал себе уши, чтобы не слышать, и кричал, что он циник.

— О боже! — вопил он, — что может быть омерзительней голой женщины, и какой срам мириться с распущенностью, как этот аббат, ведь сие ведет страну к гибели, ибо только чистота нравов и поддерживает народы!

— Что правда, то правда, сударь, — отвечал мой добрый учитель, — народы только тогда и сильны, когда у них образуются добрые нравы, но под этим следует понимать общность взглядов, чувств и устремлений и в какой-то мере добровольное подчинение законам, а отнюдь не те пустяки,

что вас занимают. Заметьте еще, что стыдливость, если это не дар свыше, просто бессмыслица, а мрачное целомудрие, коим вы одержимы, представляет собой, господин Никодем, довольно смешное и даже, я бы сказал, непристойное зрелище.

Но г-н Никодем уже выбежал вон из лавки.

XVIII

Правосудие

Господин аббат Куаньяр, коему, пожалуй, более подобало бы питаться в пританее ^[65] на средства благодарного отечества, зарабатывал себе на хлеб тем, что писал письма для служанок в лавочке писца на кладбище св. Иннокентия. Как-то раз ему пришлось услужить своим пером некоей португальской даме, путешествовавшей по Франции в сопровождении своего негритенка. Она дала ему медяк за письмо к мужу и золотое экю в шесть ливров за послание к возлюбленному. Это было первое экю, доставшееся моему доброму учителю с самого Иванова дня. Будучи человеком щедрым и расточительным, он тотчас же повел меня в «Золотое яблоко» на Гревской набережной, близ ратуши, — кабачок, где подают настоящее виноградное вино и отменные сосиски. А посему оптовые торговцы, что скупают яблоки в предместье, обычно собираются там в полдень после того, как закончат свои сделки. День был весенний, и приятно было посидеть на воздухе. Мой добрый учитель выбрал столик у самого откоса, и мы обедали под веселый плеск воды, рассекаемой веслами перевозчиков. Мягкий благодатный ветерок обдавал нас своими легкоструйными волнами, и мы блаженствовали, сидя под открытым небом. Только что мы приступили к жареным пескарям, как вдруг где-то поблизости послышался шум толпы и конский топот, и мы невольно обернулись. Догадавшись, что привлекло наше внимание, какой-то чернявый старичок, обедавший за соседним столиком, сказал нам, предупредительно улыбаясь:

— Ничего особенного, господа! Просто везут вешать одну служанку за то, что она стащила у своей хозяйки кружевной чепец.

Не успел он это сказать, как мы действительно увидели тележку, с двумя конными стражниками по бокам, а на задке тележки — довольно красивую девушку с помертвевшим лицом и сильно выпяченной вперед грудью, оттого, что руки ее были связаны за спиной. Она быстро проехала мимо, но у меня на всю жизнь осталось перед глазами это побелевшее лицо и этот взгляд, который уже ничего не видел.

— Да, господа, — снова заговорил чернявый старичок, — это служанка госпожи советницы Жосс, ей вздумалось покрасоваться у Рампоно перед своим любовником, вот она и стащила у своей хозяйки

чепец из алансонского кружева, а потом сбежала, совершив эту кражу. Ну, ее скоро поймали в каком-то доме на мосту Менял, и она тут же во всем и призналась, так что ее недолго пытали, всего какой-нибудь час или два. И я вам говорю, господа, то, что мне хорошо известно, потому как я состою в должности судебного пристава в той самой палате, где ее судили.

Чернявый старичок занялся своей сосиской, — нельзя же было допустить, чтобы она остыла! — а потом снова заговорил:

— Сейчас она уже, должно быть, взошла на помост, а минут этак через пять, коли не раньше, мошенница отдаст богу душу. Бывают висельники, с которыми палачу совсем не приходится возиться: накинута им петлю на шею, они тут же и кончатся. Но есть и такие, которые, вот уж можно правду сказать, живут жизнью висельника и бьются как одержимые. Больше всех бесновался, помню, один священник, которого в прошлом году повесили за подделку королевской подписи на лотерейном билете. Минут двадцать, коли не больше, он плясал как карп на удочке.

Хе-хе! — усмехнулся он, — скромный был человек этот аббат, его не прельщала честь получить епархию на том свете. Я видел, как его стаскивали с тележки. Он так плакал и отбивался, что, наконец, палач не выдержал и сказал ему: «Полно, господин аббат, будет вам ребячиться!» А смешнее всего то, что сам же палач его сперва за духовника принял, — потому что везли его еще с одним мошенником, — так что конвойный офицер еле-еле разубедил палача. Вот ведь какая забавная история, не правда ли, сударь?

— Нет, сударь, — отвечал мой добрый учитель, роняя на тарелку маленькую рыбку, которую он уже было поднес к губам, — я не вижу здесь ничего забавного. Как я подумаю, что эта цветущая девушка сейчас расстается с жизнью, у меня пропадает охота есть пескарей и любоваться ясным небом, которое мне только что улыбалось.

— Эх, господин аббат! — сказал маленький пристав, — ежели вы так сердобольны, то, верно, и совсем бы чувств лишились, случись вам увидеть то, что видел мой отец собственными глазами в своем родном городе Дижоне, когда еще был мальчишкой. Вам никогда не приходилось слышать о Елене Жилле?

— Нет, не приходилось, — отвечал мой добрый учитель.

— В таком случае я вам расскажу эту историю, вот так, как я ее сам слышал не раз от моего отца.

Он отхлебнул вина, вытер губы краешком скатерти и приступил к рассказу, который я здесь и привожу.

XIX

Рассказ судебного пристава

В октябре месяце 1624 года у дочери смотрителя королевского замка в Бург-ан-Бресс, Елены Жилле, двадцати двух лет от роду, жившей в отчем доме вместе со своими братьями, в ту пору еще детьми, стали замечаться столь явные признаки беременности, что об этом пошли толки по всему городу, и девицы Бурга перестали с ней знаться. А потом люди приметили, что живот у нее снова опал, и тут уж заговорили такое, что судья по уголовным делам распорядился, чтоб ее повивальные бабки осмотрели. Они засвидетельствовали, что она действительно была беременна и прошло разве что недели две, как она разрешилась. По их показанию, Елену Жилле заключили в темницу и подвергли судебному допросу. И вот что она рассказала:

— Тому назад несколько месяцев один молодой человек, живший по соседству в усадьбе моего дяди, стал бывать у нас в доме, батюшка поручил ему учить моих братцев грамоте. И вот только один раз оно и случилось. И подстроила это наша служанка, которая заперла меня с ним в комнате. Там он мной и овладел силой.

Когда ее спросили, почему же она не позвала людей на помощь, она ответила, что у нее от страха отнялся голос. А как стали ее дальше допрашивать, она сказала, что с того самого дня она и понесла, но что рожать ей не пришлось, так как плод вышел до срока. И она говорила, что не только не помогала этому, но даже и не догадалась бы, что с ней такое творится, если бы ей не объяснила одна служанка.

Судьи, отнюдь не удовлетворенные этими показаниями, не располагали, однако, никакими данными, дабы ее уличить, как вдруг совершенно неожиданно им было представлено неопровержимое доказательство ее вины. Один солдат, прохаживаясь вдоль ограды владения смотрителя королевского замка мессира Пьера Жилле, отца обвиняемой, увидел во рву ворона, который старался подцепить клювом какую-то тряпку. Он подошел посмотреть, что клюет ворон, и увидал маленький детский трупик. Он тотчас же донес об этом в суд. Ребенок был завернут в сорочку с меткой на воротнике «Е. Ж.». Установили, что он родился в срок, и Елену Жилле, уличенную в детоубийстве, приговорили, как полагается, к смертной казни. Высокое положение, которое занимал ее отец, давало ей право воспользоваться привилегией знатных, и суд постановил отрубить ей

голову.

Она обратилась в Парламентский суд Дижона, и ее под конвоем двух стражников доставили в столицу Бургундии и препроводили в темницу для осужденных. Мать, сопровождавшая ее, остановилась в монастыре бернардинок. Дело слушалось в Дижонском суде в понедельник 12 мая, на последнем заседании перед праздником св. троицы. По докладу советника Жакоба судьи утвердили приговор Бург-ан-Бресского президиального суда и постановили, что приговоренную надлежит вести на казнь с веревкой на шее. Многие возмущались тем, что такое позорящее условие было столь неожиданно и в противность всем обычаям добавлено к благородной казни, и порицали сию неслыханную суровость. Но приговор был окончательный и подлежал немедленному исполнению.

Итак, в тот же самый день, в три с половиной часа пополудни, Елену Жилле под звон колоколов повезли на эшафот; впереди шли трубачи, которые трубили так громко, что все добрые горожане, слыша их у себя дома, падали на колени и молились о спасении души той, что готовилась умереть. Помощник королевского прокурора ехал верхом на коне в сопровождении приставов.

Затем следовала осужденная в тележке, с веревкой на шее согласно постановлению суда. Ее провожали два монаха-иезуита и два брата-капуцина, которые держали у нее перед глазами распятие. Рядом с ней сидел палач с мечом и жена палача с ножницами. Отряд стражников окружал тележку. А сзади теснилась целая толпа любопытных, разных ремесленный люд, булочники, мясники, каменщики, — и от этой толпы в воздухе стоял глухой гул.

Процессия остановилась на площади, которая называется Моримон, но название сие произошло не от слова мор, как можно было бы подумать про это лобное место, где казнят злодеев, но в память бывшей здесь некогда обители тех моримонских монахов, что ходили в митрах и с посохами. Деревянный помост был воздвигнут у каменных ступеней маленькой часовни, где монахи обычно молятся за упокой души казнимых.

Елена Жилле вошла на помост в сопровождении четверых монахов, палача и жены палача, его подручной. И та, сняв с шеи осужденной веревку, затянутую петлей, обрезала ей своими громадными ножницами волосы и завязала глаза; монахи громко молились. А палач вдруг побледнел и задрожал. Звали его Симон Гранжан, с виду он был тщедушный и рядом со своей свирепой женой выглядел совсем робким и смирным. Утром в тюрьме он покаялся и получил отпущение грехов, и тем не менее сейчас он смутился духом и не находил в себе мужества предать смерти эту молодую

девушку. Поклонившись народу, он сказал:

— Простите мне, коли я плохо сделаю свое дело. Уж третий месяц как меня бьет лихорадка.

Затем, пошатнувшись, он поднял глаза к небу, заломил руки, упал на колени перед Еленой Жилле и дважды попросил у нее прощения. Потом он попросил благословения у монахов, а когда палачиха положила осужденную на плаху, он взмахнул своим мечом.

Иезуиты и капуцины воскликнули: «Иисус! Мария!»— а толпа ахнула. Но удар, который должен был перерубить шею осужденной, пришелся в левое плечо и рассек его; несчастная упала на правый бок.

Тогда Симон Гранжан оборотился к толпе и крикнул:

— Убейте меня!

Раздались яростные вопли, и несколько камней полетело на эшафот, где палачиха в это время снова укладывала несчастную жертву на плаху.

Палач снова взмахнул мечом. На этот раз он глубоко рассек шею несчастной девушки, которая свалилась на меч, выпавший из рук палача.

Толпа дико заревела, и на эшафот обрушился такой град камней, что Симон Гранжан, оба иезуита и оба капуцина соскочили вниз и бросились в маленькую часовню, где и заперлись. Жена палача, оставшись одна с осужденной, нагнулась взять меч, но, не найдя его, схватила веревку, на которой Елену Жилле вели на казнь, и, снова накинув бедняжке петлю, стала ногой ей на грудь и обеими руками изо всех сил потянула веревку, стараясь удавить несчастную. А та, обливаясь кровью, хваталась руками за веревку и отбивалась. Тогда жена Гранжана поволокла ее к краю помоста и, когда голова несчастной свесилась вниз, стала кромсать ей горло своими ножницами.

Но тут яростная толпа мясников и каменщиков сбила с ног стражников и конвойных и ринулась к эшафоту и к часовне; дюжина здоровенных рук подняла лишившуюся чувств Елену Жилле, и ее на плечах понесли в заведение мастера Жакена, цирюльника и костоправа.

Народ, ломившийся в часовню, наверно, скоро высадил бы двери. Но двое капуцинов и отцы иезуиты сами открыли их, обомлев от страха. Высоко подняв кресты над головой, они с трудом пробились через разбушевавшуюся толпу.

Палача и его жену забросали камнями, а потом добили молотами и трупы их поволокли по улицам. Между тем Елена Жилле пришла в себя у лекаря и попросила пить. И когда мэтр Жакен стал ее перевязывать, она спросила: «А меня больше не будут мучить?»

У нее оказалось две раны от меча, шесть глубоких порезов

ножницами, которые исполосовали ей губы и шею; бедра ее были изрезаны лезвием меча, который оказался под ней, когда палачиха волокла ее, стараясь удавить, и, кроме того, все тело ее было избито камнями, которыми толпа зашвыряла помост.

Тем не менее она оправилась ото всех этих ран. Ее оставили у костоправа Жакена под охраной судебного пристава, и она без конца повторяла: «Так значит, это еще не конец? Меня опять будут убивать?»

Лекарь и еще несколько милосердных людей ухаживали за ней, стараясь ее успокоить. Но один только король мог даровать ей жизнь. Стряпчий Феврэ составил прошение о помиловании, которое подписали несколько именитых граждан Дижона, и оно было подано его величеству. В это время при дворе праздновали бракосочетание Генриетты-Марии французской с королем английским. По случаю этого торжественного события Людовик Справедливый удовлетворил просьбу о помиловании. Он даровал бедняжке полное прощение, «ибо мы полагаем, — как гласил указ, — что она претерпела муки, кои не только не уступают заслуженной ею каре, но даже превосходят ее».

Елена Жилле, возвращенная к жизни, удалилась в монастырь в Брессе, где она и пребывала до конца дней своих в величайшем благочестии.

Вот какова истинная история Елены Жилле, — заключил маленький пристав, — ее знает всякий в Дижоне. Ну, что вы скажете, господин аббат, не правда ли, занимательный случай?

XX

Правосудие (Продолжение)

— Увы! — промолвил мой добрый учитель, — мне уже не идет в глотку никакой завтрак. У меня так все и переворачивается внутри от этой чудовищной сцены, которую вы, сударь, так хладнокровно живописали, да еще от лицезрения этой служанки госпожи советницы Жосс, которую повезли вешать, когда с ней можно было бы поступить куда умнее.

— Да я же вам говорю, сударь, — возразил пристав, — что эта девка обворовала свою хозяйку! Что ж, по-вашему, их и вешать не надо, воришек-то?

— Конечно, так уж у нас заведено, — сказал мой добрый учитель, — а поскольку привычка есть нечто для нас неодолимое, то пока жизнь идет своим чередом, мы ничего не замечаем. Вот, скажем, Сенека-философ: человек он был по природе своей кроткий, а, поди же— сочинял изысканные трактаты в то время, как в Риме, рядом с ним, распинали рабов за самые ничтожные провинности, — так, например, раба Митридата, пригвоздили к кресту только за то, что он оскорбил божественную особу своего господина, гнусного Тримальхиона^[66]. Так уж устроен наш разум — ничто привычное и обыденное его не смущает и не задевает. Обычай притупляет в нас способность негодовать или изумляться. Я просыпаюсь каждое утро и, по правде сказать, вовсе не думаю о тех несчастных, которых будут вешать или колесовать в течение дня. Но если мысль о казни становится для меня ощутимой, сердце мое трепещет, и оттого что я видел, как везли на смерть эту пригожую девушку, горло у меня сжимается, и я не в силах проглотить даже вот такую крохотную рыбешку.

— Подумаешь, экая невидаль, — пригожая девушка! — заметил пристав. — Да их в Париже за одну ночь на каждой улице плодят дюжинами. А зачем она обворовала свою хозяйку, госпожу советницу Жосс?

— Этого я не могу знать, сударь, — задумчиво отвечал мой добрый учитель, — и вы этого не знаете, и судьи, которые ее осудили, знают не больше нас с вами, ибо причины наших поступков непостижимы и силы, побуждающие нас поступать так, а не иначе, глубоко скрыты. Я полагаю, что человек свободен в своих действиях, ибо так учит моя вера, но помимо

учения церкви, — а оно неоспоримо, — у нас так мало оснований верить в свободу человеческую, что я с содроганием думаю о приговорах суда, карающих людей за поступки, смысл, побуждения и причины коих нам одинаково не понятны, ибо поступки эти сплошь да рядом совершаются почти без участия человеческой воли, а иной раз и бессознательно. А если в конце концов, мы все же должны отвечать за свои поступки, поскольку учение нашей святой религии основано на этом дивном сочетании свободной воли человека и божественной благодати, то выводить из этой сокрытой неощутимой свободы все притеснения, пытки и казни, коими изобилуют наши законы, — это уже значит злоупотреблять ею.

— Меня огорчает, сударь, — сказал чернявый человечек, — что вы принимаете сторону мошенников.

— Увы, сударь! — возразил мой добрый учитель, — они принадлежат к страждущему человечеству и подобно нам с вами причащаются плотью и кровью господина нашего Иисуса Христа, распятого меж двух разбойников. Мне кажется, в наших законах много ужасных жестокостей, которые когда-нибудь станут очевидны для всех и заставят негодовать наших правнуков.

— Не понимаю вас, сударь, — сказал судебный пристав, отпивая глоток вина. — Всякие зверства, кои допускались в старину, изгнаны из наших законов и обычаев, а нынешнее правосудие уж такое просвещенное да человеколюбивое! Все наказания в точности соразмерены с преступлениями, вы же сами видите: воров вешают, убийц колесуют, виновных в оскорблении его величества разрывают на четыре части лошадьми, безбожников, колдунов и мужеложцев сжигают на кострах, фальшивомонетчиков варят живьем в котле, — из всего этого явствует, что правосудие поистине проявляет чрезвычайную умеренность и мягкость.

— Сударь, ныне, как и прежде, судьи неизменно почитают себя милостивыми, справедливыми и мягкими. И в давние времена, в царствование Людовика Святого и даже Карла Великого, они похвалялись своим милосердием, которое ныне кажется нам зверством; я предвижу, что и наши потомки в свою очередь тоже будут удивляться нашей жестокости и почтут нужным упразднить многие из наших пыток и казней.

— Вот и видно, что вы рассуждаете не как судья. Пытка, сударь, необходима, чтобы вырвать признание. Разве его добьешься мягкостью! Ну, а что касается казней, — к ним у нас сейчас прибегают только как к самой крайней мере, вызванной необходимостью оградить жизнь и имущество граждан.

— Так, стало быть, вы признаете, сударь, что правосудие печется отнюдь не о справедливости, а о пользе, и руководится исключительно

интересами и предрассудками народов. С этим уж не приходится спорить, — а следовательно, карают за преступления, сообразуясь отнюдь не с тем злом, которое в них заключается, а с тем ущербом, какой они наносят (или, быть может, только предполагается, что наносят) обществу. Вот почему фальшивомонетчиков бросают в котел с кипящей водой, хотя в действительности какое же это зло — чеканить монеты? Но банкиры, да и не только банкиры, терпят от этого чувствительный убыток. За этот-то убыток они и мстят с такой бесчеловечной жестокостью. И воров вешают не за их порочность, побуждающую их украсть хлеб или какие-нибудь там обноски, — не такой уж это порок, — а потому, что людям от природы свойственно дорожить своим добром. Следовало бы вернуть человеческое правосудие к истинной его первооснове, которая есть не что иное, как корыстолюбие граждан, и содрать с него всю эту напыщенную философию, в которую оно так важно и лицемерно кутается.

— Не понимаю я вас, сударь, — возразил маленький пристав. — По-моему, правосудие тем справедливее, чем больше от него пользы, и именно эта его полезность, за которую вы его презираете, и должна делать его для вас священным и нерушимым.

— Вы меня совсем не поняли, — заметил мой добрый учитель.

— Сударь, — сказал маленький пристав, — я вижу, вы не пьете! А вино у вас, судя по цвету, должно быть не плохое. Вы не позволите отведать?

И правда, первый раз в жизни мой добрый учитель оставил бутылку недопитой. Он вылил оставшееся на дне вино в стакан пристава.

— Ваше здоровье, господин аббат, — сказал пристав. — Вино у вас превосходное, но вот рассуждения ваши никуда не годятся. Правосудие, говорю я, тем справедливее, чем больше от него пользы, и сама эта полезность, которая, по вашим словам, является его первоосновой, должна бы делать его для вас священным и нерушимым. И как же не признавать, что справедливость — это суть правосудия, когда на то указывает само слово.

— Сударь, — отвечал мой добрый учитель, — сказать, что красота красива, правда правдива, а справедливость справедлива, — значит ничего не сказать. Ваш Ульпиан, который умел выражаться точно^[67], говорит, что справедливость — это твердая и постоянная воля воздавать каждому то, что ему надлежит, и что законы справедливы тогда, когда они утверждают эту волю. Вся беда в том, что людям в сущности ничто не принадлежит, и таким образом справедливость законов годится только на то, чтобы сохранять за ними богатство, награбленное их предками или ими самими.

Эти законы похожи на правила, которые устанавливают дети, играющие в камешки: когда проигравший хочет по окончании игры получить обратно свои камешки, ему говорят: «Это не по правилам». Вся мудрость судей сводится к тому, чтобы отличать захват, совершенный не по правилам, от того, который входил в уговор в начале игры, и хоть это, казалось бы, и ребяческое занятие, а установить это различие не так-то просто. Решение всегда останется произвольным. Девушка, которая в эту минуту уже висит на пеньковой веревке, украла, вы говорите, чепец у госпожи советницы Жосс. А как вы можете доказать, что этот чепец принадлежал госпоже советнице Жосс? Вы скажете, что она либо купила его на свои деньги, либо он ей достался в приданое, или, быть может, она получила его в подарок от своего возлюбленного, словом, вы переберете все честные способы, коими приобретаются кружева. Но как бы она их ни приобрела, я вижу только, что для нее это было нечто вроде дара судьбы, который достается случайно и так же случайно теряется, но никакого естественного права на него ни у кого нет. Тем не менее я готов согласиться, что кружева эти принадлежат ей по тем же правилам игры в собственность, принятым в человеческом обществе и которых придерживаются дети, играющие в камешки. Она дорожила этими кружевами, и в конце концов ее права на них были ничуть не меньше, чем у кого-нибудь другого. Отлично, я с этим не спорю. Дело правосудия было возвратить ей эти кружева, но не заставлять же платить за них такой дорогой ценой, не отнимать человеческую жизнь за две жалких полоски алансонского кружева.

— Сударь, — возразил маленький пристав, — вы рассматриваете только одну сторону правосудия. А ведь это не все. Мало было оказать справедливость госпоже советнице Жосс, вернув ей ее кружева. Необходимо было оказать справедливость также и служанке, вздернув ее за шею. Ибо правосудие состоит также и в том, чтобы каждому воздавать должное. Этим-то оно и священо.

— В таком случае правосудие еще гаже, чем я думал, — сказал мой добрый учитель. — Вот это рассуждение, что виновного надо покарать, дабы воздать ему должное, — чудовищная жестокость. Просто какое-то средневековое варварство!

— Вы, сударь, плохо знаете правосудие. Оно карает без гнева и не питает никакой злобы к этой девушке, которую оно послало на виселицу.

— Великолепно! — воскликнул мой добрый учитель. — Но, по-моему, лучше было бы, если бы судьи признались, что они карают виновных просто по необходимости, дабы это послужило назиданием для других. Тогда они и ограничивались бы лишь необходимым. Но ежели они

воображают, что, карая виновного, они воздают ему должное, то это уж такие тонкости, которые могут далеко завести, тут самая их честность заставит их быть беспощадными, ибо как же можно недодать человеку то, что ему причитается? Это рассуждение, сударь, кажется мне отвратительным. Оно было выдвинуто искусным философом Менардом^[68], который с необычайной последовательностью доказывал, что не наказывать преступника — значит причинить ему вред, злостно лишить его права искупить свою вину. Он доказывал, что афинские судьи, принудившие Сократа выпить цикуту, поступили похвально, позаботившись об очищении души этого мудреца. Все это невообразимые бредни. Мне бы хотелось, чтобы наше правосудие было не столь превыспренно. Более распространенное понятие кары как справедливого возмездия, сколь оно ни отвратительно и гнусно, все же не так страшно по своим последствиям, как эта яростная добродетель философов-мучителей. Некогда в Сеэзе я знал одного горожанина, хороший был человек, веселого нрава, бывало каждый вечер усадит к себе на колени своих ребятишек и рассказывает им сказки. Он вел примерную жизнь, соблюдал посты, ходил к исповеди и гордился своей честностью в торговых делах, ибо уже лет шестьдесят, коли не более, торговал зерном. И вот однажды служанка украла у него несколько дублонов, дукатов, реалов и других ценных золотых монет, которые он хранил, как редкость, в ларце, в ящике своего стола. Как только он обнаружил пропажу, он немедленно подал жалобу в суд, после чего служанку схватили, допросили, осудили и казнили. А сей добрый горожанин, который хорошо знал законы, потребовал, чтобы ему отдали кожу воровки и заказал себе из нее штаны. Я помню, как он, бывало, похлопывал себя по ляжкам и приговаривал: «Мерзавка, ах, мерзавка!» Эта девушка стащила его золотые монеты, вот он и стащил с нее кожу; но хоть по крайней мере он мстил ей без всякой философии, попросту, с мужицкой жестокостью. Ему не приходило в голову, что он выполняет какой-то священный долг, когда он, смеясь, похлопывал себя по штанам, сделанным из человеческой кожи. И уж лучше бы считать, что воров вешают из предосторожности, для острастки, а совсем не для того, чтобы воздать каждому по принадлежности, как говорит этот Ульпиан. Ибо, если рассудить здраво, человеку ничто не принадлежит, кроме разве его жизни. А почитать своим долгом заботиться о том, чтобы преступник искупил свою вину, — это уж совсем дикий мистицизм, куда хуже откровенного насилия и простой ярости. Что же касается права карать воров, то оно опирается на силу, а отнюдь не на философию. Философия, напротив, учит нас, что все, чем мы владеем, приобретено насилием или хитростью. И вы видите, что когда нас

обирает могущественный грабитель, судьи потакают ему. Таким образом, королю разрешается отбирать у нас серебряную посуду, дабы он мог вести войну, как это было при Людовике Великом, когда изъятие ценностей производилось столь тщательно, что сдирали даже бахрому с пологов у кроватей, дабы извлечь из нее золото, вплетенное в шелк. Этот государь прибирал к рукам имущество частных лиц и сокровища церкви, и примерно лет двадцать тому назад, когда я ходил молиться в собор Льесской богородицы в Пикардии, старик ризничий жаловался мне, что покойный король забрал у них все церковные ценности, дабы переплавить их, и изъясил из храма даже золотую грудь, отделанную драгоценной эмалью, некогда с великой торжественностью принесенную в дар принцессой Палатинской по случаю чудесного исцеления от рака. Правосудие поддерживало монарха в этих реквизициях и строго карало тех, кто пытался утаить какую-нибудь вещицу от королевских приставов. Стало быть, оно не считало, что эти вещи являются такой уж неотъемлемой собственностью их владельцев, что ее нельзя у них отнять.

— Сударь, — возразил маленький пристав, — эти чиновники действовали именем короля, который владеет всем достоянием королевства и может распоряжаться им по своему усмотрению, затем, чтобы вести войну, строить суда или для любой другой надобности.

— Это верно, — сказал мой добрый учитель, — и все это обусловлено правилами игры. Судьи следуют правилам игры в гусек и смотрят на то, что изображено на картинке. Права государя, охраняемые швейцарцами и разными другими солдатами, там запечатлены. А у этой бедняжки-повешенной не было швейцарской стражи, которая показывала бы на картинке, что она имеет право носить кружева госпожи советницы Жосс. Все точь-в-точь сходится.

— Сударь! — возмутился маленький пристав, — я думаю, вы не позволите себе равнять Людовика Великого, который отобрал посуду у своих подданных, чтобы заплатить жалованье солдатам, и эту подлую тварь, стянувшую чепчик, чтобы покрасоваться!

— Сударь, — ответил мой добрый учитель, — воевать далеко не столь невинно, как пойти покрасоваться к Рампонно в кружевном чепчике. Но правосудие заботится, чтобы каждый остался при своем согласно правилам игры в людском обществе, а это — самая бесчестная, самая бессмысленная и самая неинтересная игра. И хуже всего то, что все граждане должны принимать в ней участие.

— Это уж обязательно, — заметил маленький пристав.

— Вот потому-то законы и полезны, — продолжал мой добрый учитель. — Но они отнюдь не справедливы и не могут быть справедливыми, ибо судья обеспечивает гражданам сохранность принадлежащих им благ, не различая благ истинных от благ ложных; это различие не входит в правила игры; оно вписано в книгу божественного правосудия, в которой никому не дано читать. Вы знаете сказание об ангеле и отшельнике? Однажды на землю спустился ангел в образе человека и в одежде паломника; странствуя по Египту, он постучался вечером в хижину доброго отшельника, и тот, приняв его за путника, накормил его ужином и поднес ему вина в золотой чаше. Потом уложил его в свою постель, а сам растянулся на полу, подложив под себя охапку соломы. В то время как он спал, небесный гость поднялся и, взяв чашу, из которой пил, спрятал ее под своим плащом и скрылся. Он поступил так не для того, чтобы сделать зло доброму отшельнику, а, напротив, для пользы своего милосердного хозяина, давшего ему приют. Ибо он знал, что эта чаша может погубить святого мужа, который чересчур привязался к ней, тогда как господь хочет, чтобы любили только его одного, и ему неуютен служитель, который привержен к мирским благам. Этот ангел, причастный к божественной мудрости, отличал ложные блага от истинных. Судьи не делают такого различия. Кто знает, не погубит ли госпожа Жосс свою душу этим кружевом, которое похитила у нее служанка и которое ей возвратили судьи.

— Ну, а пока что, — сказал маленький пристав, потирая руки, — у нас на земле сейчас стало одной мошенницей меньше.

Он стряхнул крошки, приставшие к платью, поклонился нам и бодро зашагал прочь.

XXI

Правосудие

(Продолжение)

Мой добрый учитель, повернувшись ко мне, продолжал:

— Я привел это сказание об ангеле и отшельнике только для того, чтобы показать, какая пропасть отделяет мирское от духовного. Ибо правосудие человеческое проявляется только в мирском, а это — злая юдоль, где высокие принципы не находят себе применения. Какой тяжкий грех перед господом нашим Иисусом Христом — водружать образ его в судилище, где судьи оправдывают фарисеев, его распявших, и осуждают Магдалину, которую он поднял своими божественными руками. Что делать ему, справедливому, среди этих людей, которые не могут быть справедливыми, даже если бы хотели, ибо их жалкая обязанность состоит в том, чтобы судить дела ближних своих, не вдаваясь в их суть или побуждения, а руководствуясь лишь интересами общества, то есть, попросту говоря, поощрять это чудовищное сплетение эгоизма, жадности, обмана и злоупотреблений, — все то, из чего создаются государства и что они, судьи, поставлены слепо охранять. Взвешивая проступок, они кладут на ту же чашу весов гнев или страх, внушаемый этим проступком трусливой толпе. И все это вписано в их книгу, и сей древний свод и мертвая буква заменяют им разум, сердце и душу живую. И все эти заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры^[69], неизменно сходятся в одном — сохранить все как есть добродетели и пороки, чтобы все оставалось на своем месте в этом мире, который не желает меняться. Проступок сам по себе имеет в глазах закона столь мало значения, а внешние обстоятельства обретают такой вес, что одно и то же действие, законное в одном случае, считается непростительным в другом; примером можно привести пощечину: горожанина, который дал другому пощечину, всего лишь порицают за несдержанность, а солдата — отдают под суд и карают смертью. Сей пережиток варварства покроет нас позором в грядущих веках. Мы об этом не думаем; но когда-нибудь люди будут изумляться, что же это были за дикари, которые карали смертной казнью благородное негодование, заставляющее бурлить кровь юноши, обреченного законом на опасности войны и гнусности казармы. И ведь всякому ясно, что, если бы у нас действительно существовало правосудие,

мы не завели бы двух кодексов — одного военного, а другого гражданского. Это казарменное правосудие, которое что ни день чинит расправы, отличается невообразимой жестокостью, и если когда-нибудь люди станут просвещенными, им трудно будет поверить, что могли некогда существовать такие порядки, при которых в мирное время военно-полевые суды карали смертью людей за оскорбление капралов и сержантов. Им трудно будет поверить, что людей прогоняли сквозь строй за преступление, именуемое бегством пред лицом неприятеля, во время экспедиции, в которой правительство Франции не признавало воюющих сторон. И больше всего поражает то, что все эти жестокости совершаются у христианских народов, которые чтут святого Себастьяна, мятежного воина, и мучеников Фивского легиона, вся слава коих в том и состоит, что они испытали на себе тяжесть военного суда, отказавшись воевать против багаудов^[70]. Но оставим это, не будем говорить о правосудии солдафонов, которые, по пророчеству сына божия, сгинут с лица земли, и вернемся к судьям гражданским.

Судьи не читают в сердцах и не проникают в человеческие помыслы; поэтому даже самое справедливое их правосудие грубо и поверхностно. Многого им еще недостает до того, чтобы соблюдать хотя бы ту видимость справедливости, на которой зиждутся их законы. Они люди, а это значит, что они слабы и подкупны, к сильным людям предупредительны, а к малым людям безжалостны. Они узаконивают своими приговорами чудовищный произвол, и трудно понять, проистекает ли сие попустительство от их собственной низости, или же они почитают сие своим судейским долгом, который поистине сводится лишь к тому, чтобы поддерживать государство во всем, что в нем хорошо или дурно, печясь о незыблемости общественных нравов, достойных или постыдных, и охранять наравне с правами граждан тиранический произвол государя, не говоря уже о тех нелепых и жестоких предрассудках, кои находят себе неприкосновенное убежище под гербом лилии.

Самый неподкупный судья, именно в силу своего нелицеприятия, способен вынести самый возмутительный и, быть может, более бесчеловечный приговор, нежели судья недобросовестный, и я, по правде сказать, не знаю, кого из двух следует опасаться, — того ли, кто сжился душой с буквой закона, или того, кто, еще сохранив какие-то остатки чувств, вкладывает их в превратное толкование сих законов. Этот принесет меня в жертву своим страстям или своей корысти, а тот хладнокровно пожертвует мною писанной букве.

Следует еще заметить, что судья по роду своей деятельности стоит на

страже не новых предрассудков, коим мы все подвержены, но тех пережитков прошлого, которые сохраняются в законах и тогда, когда они уже давно исчезли из наших обычаев и из нашей памяти. И человек, обладающий хоть сколько-нибудь независимым умом и способностью размышлять, не может не видеть этой обветшалости закона, которую судья не имеет права замечать.

Но я говорю так, как если бы законы, какие бы они ни были варварские и дикие, отличались по крайней мере ясностью и определенностью. На самом же деле это далеко не так. Темные речи какого-нибудь колдуна легче понять, чем некоторые статьи наших кодексов и уложений обычного права. Эти трудности толкования сыграли немалую роль в создании различных судебных инстанций; предполагается, что ежели в чем-то не разберется местный судья, сие разберут господа высшие судьи. Но не слишком ли это много ожидать от пяти человек в красных мантиях и четырехугольных шапках, кои даже после прочтения *Veni, Creator*^[71] все равно остаются подвержены заблуждениям? И не лучше ли просто сознаться, что и высшая судебная инстанция выносит окончательный приговор лишь потому, что к ней прибегают уже после того, как пройдены всё остальные. Государь держится того же мнения, ибо его суд выше верховного суда.

XXII

Правосудие

(Продолжение и конец)

Мой добрый учитель печально следил взором за течением реки, словно созерцая в сем образ нашего мира, где все течет и ничто не изменяется. Некоторое время он сидел молча, задумавшись, а потом заговорил тихим голосом:

— Уже одно то кажется мне непостижимым, сын мой, что именно судьи призваны вершить правосудие. Разве не ясно, что им требуется объявить виновным того, кого они с самого начала заподозрили? Их побуждает к этому кастовый дух, который их тесно сплавливает; вот почему во время судопроизводства они всячески отстраняют защиту, словно это какой-то назойливый любопытный, и допускают ее лишь после того, как обвинение предстанет во всеоружии, с суровым лицом, придав себе с помощью всяческих ухищрений вид прекрасной Минервы. По самому духу своей профессии они склонны видеть виновного в каждом обвиняемом, и их рвение кажется таким устрашающим некоторым европейским народам, что в крупных судебных делах они приставляют к судьям десяток граждан, избранных по жребию. Из этого следует, что случай в своей слепоте более способен оградить жизнь и свободу обвиняемого, нежели просвещенная совесть судей. Правда, эти присяжные, которых привел сюда жребий, не допускаются до сути дела и видят его только с парадной, показной стороны. Правда и то, что, поскольку они не сведущи в законах, им положено не применять закон, а лишь постановить коротко, одним словом, следует или нет в данном случае его применить. Говорят, что эти суды присяжных приводят иной раз к совершенно нелепым результатам, но народы, которые их у себя ввели, держатся за них как за своего рода крепкую защиту. Я охотно этому верю и могу понять, почему люди признают такого рода приговоры: они могут быть бессмысленными и жестокими, но по крайней мере их бессмысленность и жестокость никому нельзя вменить в вину. Можно примириться с несправедливостью, когда она до такой степени ни с чем не сообразна, что кажется невольной.

Этот маленький судебный пристав, который так превозносил правосудие, заподозрил меня в том, что я держу сторону воров и убийц. Напротив, мне так ненавистны воровство и убийство, что я не переносу их

даже в исполнительных листах, скрепленных законом, и мне горестно видеть, что судьи не придумали ничего лучше для наказания мошенников и злодеев, кроме как подражать им; ибо, сказать по правде, Турнеброш, сын мой, что такое штрафы и смертные казни как не те же кражи и убийства, совершаемые с торжественной неотвратимостью? И разве ты не видишь, что наше правосудие, при всем своем величии, идет тем же постыдным путем — воздает злом за зло, несчастьем за несчастье, дабы не нарушить равновесия и симметрии, умножает вдвое злодейства и преступления. Здесь также можно высказать своего рода честность и бескорыстие; можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом^[72]. Я сам знаю одного судью, очень порядочного человека. Но я потому и начал с самых основ, что мне хотелось показать истинную природу сей касты, которой гордыня судей и страх народа придали отнюдь не подобающее ей величие. Я хотел показать подлинное убожество этих сводов законов, которые нам преподносят как нечто священное, тогда как на самом деле они представляют собой собрание всевозможных ухищрений и уловок.

Увы! Законы произошли от человека, — ничтожное и жалкое происхождение! Большинство из них зародилось случайно. Невежество, суеверие, честолюбие монарха, корысть законодателя, прихоть, фантазия — вот на чем зачинались эти высокие установления, которые возвеличивались по мере того, как они становились все более непостижимыми. Они окутаны мраком, и толкователи еще более сгущают его, дабы придать им величие древних оракулов. Я то и дело слышу и каждый день читаю в газетах, что наши законы ныне диктуются обстоятельствами и случаем. Это рассуждения близоруких людей, которые не видят того, что так оно и было спокон веков и что закон всегда обязан своим происхождением какой-нибудь случайности. Жалуются также на путаницу и противоречия, в которые постоянно впадают наши нынешние законодатели. И не замечают того, что и предшественники их тоже плутали в потемках.

А в сущности говоря, Турнеброш, сын мой, законы хороши или плохи не столько сами по себе, сколько по тому, как их применяют, и несправедливое установление не причинит зла, ежели судья не приведет его в действие. Обычай сильнее законов. Мягкость нравов, незлобивость духа — вот единственные средства, коими можно разумно бороться с варварством законов. Ибо исправлять законы посредством законов — это долгий и сбивчивый путь. Только течение веков сокрушит то, что создавалось веками. И мало надежды, что некий французский Нума Помпилий повстречает когда-нибудь в Компьенском лесу или среди скал

Фонтенебло новую нимфу Эгерью^[73], которая продиктует ему мудрые законы.

Он устремил долгий взгляд на холмы, синевшие на горизонте. Лицо его было задумчиво и печально. Затем, ласково положив руку мне на плечо, он заговорил таким проникновенным голосом, что я почувствовал себя потрясенным до глубины души.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне, — ты замечаешь, как я теряюсь и путаюсь, делаюсь косноязычным и глупым при одной только мысли об исправлении того, что кажется мне отвратительным. Не думай, что это робость духа: ничто не может смутить дерзаний моего разума. Но запомни хорошенько то, что я тебе сейчас скажу, сын мой. Истины, открытые разумом, остаются бесплодными. Только сердце способно оплодотворить мечты. Оно вливает жизнь во все, что оно любит. И семена добра, разбросанные в мире, посеяны чувством. Разум не способен сеять. И я признаюсь, что до сих пор был слишком рассудочен в своей критике законов и нравов. Поэтому критика моя не принесет плодов и засохнет, как дерево от апрельских заморозков. Чтобы служить людям, нужно отбросить разум прочь, как ненужный балласт, и взлететь на крыльях воодушевления. А тот, кто рассуждает, никогда не взлетит.

Комментарии

«Суждения господина Жерома Куаньяра» были впервые опубликованы в газете «Écho de Paris» в виде серии фельетонов в период с 15 марта по 19 июля 1893 г. (за исключением трех глав, напечатанных в газете «Temps»). Отдельное издание вышло у Кальман-Леви в октябре 1893 г.

Книга «Суждения господин Жерома Куаньяра» бессюжетна; это серия диалогов в повествовательном обрамлении, из которых выясняются взгляды героя на государственное устройство, армию, войну, на мораль и право, на науку вообще и историческую науку в частности. Собеседования на эти темы происходят в характерных уголках старого Парижа: то в книжной лавке, то в кабачке или на церковной паперти, то на Новом мосту перед ларьками букинистов. Это придает произведению исторический колорит.

Каждая беседа составляет законченный эпизод книги и имеет тенденцию обособиться в самостоятельную новеллу, но все новеллы-диалоги связаны общим героем и единством его отношения к жизни.

Аббат Куаньяр решительно осуждает колониальную политику европейцев, «путем усовершенствованной дикости» истребляющих цветные расы, как «позор для человечества», утверждает благородство крестьян и ремесленников, ежедневно рискующих умереть от усталости и голода, ибо пули и ядра убивают не так метко, как нищета; считает, «что все, чем мы владеем, приобретено насильем и хитростью», что судьи одобряют грабеж, «если нас грабит могущественный грабитель»; он возмущен казнью молодой служанки советницы Жосс за кражу куска алансонских кружев.

Во второй книге о Куаньяре критика обращена прямо в сторону современности. Франс прибегает к эзопову языку: его Куаньяр, жизнь которого отнесена к последней четверти XVII и первой четверти XVIII в., оперирует материалами из жизни Третьей республики; дело Миссисипи — это Панама, госпожа де ла Моранжер (в газетной редакции книги — госпожа Коддю) имеет прототипом жену барона Коттю, администратора Панамского канала; лицемерный ревнитель морали Никомед списан с сенатора Третьей республики Беранже, в Рокстронге есть черты французского буржуазного политического деятеля Анри Рошфора, автора памфлетов против Второй империи, и т. д. В книгу врывается живое дыхание современной Франсу политической жизни. Фактически писатель

провел своего героя через опыт буржуазной революции и заставил не только полемизировать с нею и теми просветителями, которые подготовляли ее идеологически, но и ополчиться против ее результатов, против уродств буржуазного общества.

Иногда герой Франса приходит в социальном вопросе к смелым обобщениям, считая, например, что восстания рождаются от крайней нищеты народа и зачастую являются единственным выходом для людей, которые «могут добыть себе таким путем лучшие условия жизни, а иногда и участие в верховной власти». Следует, однако, помнить, что воззрения аббата Жерома Куаньяра крайне непоследовательны и противоречивы; так, из других его высказываний следует, что в плодотворность революционных переворотов он не верит; в притче о принце Земире история человечества сводится Куаньяром к формуле: «Люди рождались, страдали и умирали». История, по его мнению, движется по замкнутому кругу, и время не вносит в жизнь народов существенных изменений. Мудрость старухи из Сиракуз, которая ежедневно молится за здоровье тирана, — в том, что новый тиран может оказаться еще хуже. К правительствам, возникшим в результате заговора и мятежа, Куаньяр относится с недоверием, и одновременно пафос его высказываний — в обличении монархического принципа. Весьма вероятно, говорит он, что небо послало монархов народам в виде наказания. Признаваясь в том, что склонен любить народные правительства, Куаньяр, тем не менее, критически относится к народовластию; он заявляет, что народное собрание не способно к широким и глубоким политическим взглядам, что правители, назначенные демосом, слабы, посредственны, коварны. Взгляд Куаньяра на историю, несомненно, разделялся в период создания книг и самим автором.

Скептик-созерцатель Куаньяр считает себя неспособным к каким бы то ни было действиям и думает, что действовать можно только при близорукости и узости кругозора. Речь, разумеется, идет не о действиях в сфере частной жизни, а об активности в сфере общественной. И все же скала куаньяровского созерцательного скептицизма, в конце концов, дает трещину: книга венчается репликой Куаньяра о необходимости, для служения людям, отбросить всякие рассуждения и подняться ввысь «на крыльях воодушевления». Таким образом, герой делает шаг вперед, когда признает необходимость действия и энтузиазма, но он впадает в другую крайность, жертвуя ради действия мыслью. Герой Франса так и не смог снять искусственного противопоставления мысли действию, решение проблемы остается односторонним.

В ряде франсовских героев-гуманистов Куаньяр, при всей

противоречивости и непоследовательности его взглядов, является первым, кто выступил с развернутой критикой социальной действительности. И в этом непреходящее значение его образа на творческом пути Франса Куаньяра предвещает появление своих преемников в лице Бержере («Современная история») и Ланжелье («На белом камне»).

Царская цензура неоднократно налагала запрет на книги Франса о Куаньяре. В докладе Центральному комитету иностранной цензуры, ведению которого подлежали вопросы о допущении заграничных изданий к обращению внутри страны, царский цензор в 1893 г. обрушился на «антирелигиозную болтовню» в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» и, имея в виду Куаньяра, писал, что «одно из таких лиц, принятое владельцем помещения в наставники к сыну своему, в прениях своих по предмету религии не стеснялось в выражениях о святых, о творце и такими суждениями повлияло и на воспитанника своего». В оценке «Суждений» цензор делает упор на «неудобные к дозволению» антимонархические идеи книги. В обоих случаях резолюция председателя Центрального комитета иностранной цензуры А. Н. Майкова была краткой и категоричной: «Запретить».

В 1907 г., в связи с манифестом 17 октября 1905 г., Центральный комитет иностранной цензуры вновь обратился к «изучению» романов Франса о Куаньяре и, надо сказать, с прежним успехом: запрет был подтвержден.

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» вместе с рядом других произведений Франса были впервые опубликованы на русском языке после Великой Октябрьской социалистической революции.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

... как Сократ в Меморабилиях Ксенофонта. — Ксенофонт (ок. 430–355 до н. э.) — древнегреческий историк; здесь имеется в виду его сочинение «Воспоминания о Сократе» («Меморабилии»).

... черепа, которые Боссюэ посылал настоятелю Траппы... — Боссюэ Жан-Бенинь — французский богослов и проповедник XVII в., идеолог абсолютизма; Траппа — монашеский орден, названный так по местонахождению его центра.

... кресты Лилии, медали св. Елены и Июльские ордена... — Здесь названы ордена и медали, символизирующие различные политические режимы. Орден Лилии был учрежден в 1814 г. при реставрации монархии Бурбонов; медаль св. Елены — в 1857 г. Наполеоном III для награждения оставшихся в живых ветеранов Наполеона I; июльские ордена — ордена буржуазной июльской монархии Луи-Филиппа.

Г-н Жан Лакост писал в «Gazette de France» от 20 мая 1893 года: «Г-н аббат Жером Куаньяр — священнослужитель, полный знания, смирения и веры. Я не сказал бы, что его поведение всегда было достойно его сана и что его священническое одеяние не бывало запятнано... Но если он и поддается соблазну, если он легко оказывается добычей дьявола, он никогда не теряет веры, он надеется, что милость господня оградит его от падения и отворит ему двери рая. И он на самом деле являет нам зрелище весьма поучительной кончины. Так крупница веры украшает жизнь, и поистине христианское смирение пристало человеческим слабостям.

Если г-н аббат Куаньяр не святой, он, пожалуй, заслуживает чистилища. Но он заслуживает его надолго и едва избежал ада. Ибо к его искреннему смирению почти никогда не примешивалось раскаяние. Он слишком полагался на милость господню и не делал ни малейшего усилия, дабы заслужить эту милость. Потому он снова и снова впадал в грех. Таким образом, от его веры было мало толку и он был почти что еретиком, ибо святой Тридентский собор в канонах VI и IX на своем шестом заседании предал анафеме всех, кто утверждает, что «не от человека зависит вступить на путь зла», и кто так слепо полагается на веру, что внушает себе, будто она одна может привести ко спасению «безо всякого участия воли человеческой». Вот почему божественное милосердие, простершееся на аббата Куаньяра, можно считать воистину чудесным и преклониться перед неисповедимыми его путями».

В его поучениях вольность философов-циников сочетается с чистотой первых монахов обители священной Порциункулы. — Циники — философская школа (IV в. до н. э.), проповедовавшая пренебрежение к человеческой культуре и возврат к первобытному состоянию. Священная Порциункула — название первой обители монашеского францисканского ордена.

... по примеру того, кто жил среди мытарей и блудниц — то есть по примеру Христа.

...мог бы прочесть «Эмиля». — «Эмиль, или О воспитании» (1762) — педагогический роман французского революционного писателя-просветителя Жан-Жака Руссо. Здесь проводится одна из главных идей учения Руссо о том, что человек по природе добр, и лишь дурное устройство общества делает его злым.

Г-жа де Варенс — подруга молодости Руссо; в ее имении он прожил долгие годы.

... тащит человека назад к обезьяне... — В своем учении Руссо подверг критике цивилизацию классового общества и прославлял первобытное «естественное» состояние человека.

...вздумали применить «Общественный договор» к наилучшей из республик. — «Общественный договор» (1762) — трактат Руссо, в котором излагались принципы демократического устройства общества; в период французской буржуазной революции конца XVIII в., в 1793 г., якобинцы использовали многие положения «Общественного договора» при выработке так называемой Конституции Второго года (которая так и не смогла быть проведена в жизнь).

«Декларация прав человека» — точнее «Декларация прав человека и гражданина» — один из программных документов французской буржуазной революции. Принята была Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Госпожа Удето, маршал Люксембургский — аристократические друзья Руссо, выведены в его «Исповеди».

...его Гофолию, из которой видно, что он недурно разобрался в политике. — «Гофолия» (издана в 1691 г.) — поздняя трагедия французского драматурга Жана Расина, в которой показано падение тиранической власти царицы Гофолии и воцарение на ее месте гуманного правителя, отрока Иоаса.

...на другой день после кончины министра... — Имеется в виду первый министр регента Филиппа Орлеанского кардинал Дюбуа, умерший в 1723 г. Время его правления было ознаменовано падением придворных нравов и разгулом спекуляции. Попытка оздоровить финансы страны при помощи «системы Ло» (см. ниже главу «Дело о Миссисипи») окончилась крахом, что побудило Дюбуа в последние годы жизни изменить политику. В год смерти Дюбуа король Людовик XV достиг совершеннолетия, принял власть над страной и вскоре назначил первым министром своего любимца кардинала Флери (1726). Говоря о Дюбуа, А. Франс имеет в виду деятельность французского министра Ферри. Последний умер 17 марта 1893 г., а уже 22 марта в газете «Echo de Paris» появилась соответствующая глава романа Франса.

Вобан Себастьян (1633–1707) — маршал Франции, военный инженер.

Что нового внес ваш министр в колониальную политику, чего бы не знали финикийцы еще во времена Кадма. — Древние финикийцы (II–I тысячелетие до н. э.) основали колонии на Кипре, Сицилии, на юге Франции и Италии, в Северной Африке. Кадм — легендарный основатель города Фивы, согласно одному из мифов прибывший в Грецию из Финикии.

... это будет небольшая книжечка, нечто вроде *Apokolokyntosis* Сенеки-философа либо нашей... Менипповой сатиры. — *Apokolokyntosis* («Отыквление») — сатира римского писателя I в. Сенеки, осмеивающая императора Клавдия. «Мениппова сатира» была написана в конце XVI в., в период религиозных войн во Франции и направлена против католической Лиги, возглавлявшейся герцогом Гизом.

... суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту. — Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — древнеримский историк; Де Ту Жак-Огюст (1553–1617) — французский историк.

... не замешаны янсенисты. — Янсенисты — сторонники оппозиционного морально-религиозного течения внутри католицизма, которое преследовалось официальной церковью. Они проповедовали скромность в быту и суровость нравов.

... у Элия Лампридия... говорится, что курица, принадлежавшая отцу Александра Севера, снесла красное яйцо в день рождения сего младенца... — Лампридий — римский историк (III–IV в.); Александр Север — римский император (III в.). Приведенный исторический анекдот был использован А. Франсом в его новелле «Красное яйцо» (сборник «Валтасар»).

Высшая слава божья — бессмертный человек (лат.)

И удедил им по молитвам их (лат.).

...подобно янсенисту Блезу Паскалю... — Известный физик, математик и философ Блез Паскаль (1623–1662) принадлежал к янсенизму.

... надобно разгрызть кость, чтобы добраться до мозга. — Почти дословный пересказ фразы Рабле из пролога к первой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль», где автор намекает читателю на скрытую в его романе-сказке сатиру.

«Похвальное слово глупости» (1509, изд. 1511) — сатира нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского, осмеивающая нравы феодальной эпохи.

... злонравие слуг, которых возьмет себе простак Демос... — Здесь содержится намек на комедию древнегреческого драматурга Аристофана (V в. до н. э.) «Всадники», где афинский народ выведен в образе простака Демоса, обманутого алчными и хитрыми рабами (правителями Афин),

... четверостишия Пибрака... — Имеются в виду «Моральные четверостишия», сочинение французского поэта XVI в. Ги де Пибрака.

... отдает чванным легкомыслием Фронды... испорчена... сценами в духе герцогини Лонгевильской... — Фронда — широкое движение против абсолютизма во Франции в 1648–1653 гг., охватившее разные слои общества и использованное в своих целях реакционными вельможами и принцами. Герцогиня Лонгевильская — одна из видных участниц аристократической Фронды.

... подобно Сюлли споспешествует разумному государю... — Сюлли Максимильен (1560–1641) — министр французского короля Генриха IV.

... не так повезет, как легендарному Эдипу... — Согласно древнегреческому мифу мудрец Эдип разгадал загадку Сфинкса и этим самым освободил от него город Фивы.

...когда Колен и Жанно выдумывают разные приказы... — Колен и Жанно — широкораспространенные простонародные имена.

Здесь... можно приобрести «Астрею», всю целиком, и «Великого Кира»... — Имеется в виду пасторальный роман Онорэ д'Юрфе «Астрея» и псевдоисторический роман Мадлены де Скюдери «Артамен, или Великий Кир», которые были в моде у завсегдатаев парижских аристократических салонов первой половины XVII в.

Я вижу здесь варварскую хронику Монстреле... — Ангеран де Монстреле (1390–1453) — французский летописец, автор двухтомной «Хроники», содержащей интересные сведения об эпохе Столетней войны, но не отличающейся достоинствами стиля.

Гассенди Пьер (1592–1655) — французский философ-материалист, современник Декарта.

Фонтенель Бернар (1657–1757) — французский писатель и ученый, автор «Бесед о множественности миров».

Геометрия, о которой говорит Жак Турнеброш, снабжена чертежами Себастьяна Леклера, которые восхищают меня своим тонким изяществом и четкостью. Однако спорить с автором не приходится. (Прим. издателя.)

Мондор (настоящее имя Филипп Жирар) — известный в первой половине XVII в. фарсовый актер; играл в ярмарочном балагане на Новом мосту.

Это говорит священник. (Прим. издателя.)

... не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом... — Фанфан-Тюльпан — популярный персонаж старинных французских песенок, солдат-гуляка, задира и весельчак; Сердцеед — солдат-волокита.

Я читал... трактаты Макиавелли... — Николо Макиавелли (1469–1527) — итальянский писатель, автор политического трактата «Государь»; здесь он оправдывает любые средства для достижения сильной монархической власти, в которой видит единственную силу, способную политически объединить Италию.

... шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой. — Эвандр — один из легендарных предков древних римлян. Упоминается в «Энеиде» Вергилия. Филемон и Бавкида — супружеская чета, дожившая в любви и согласии до глубокой старости. Воспеты римским поэтом Овидием в его «Метаморфозах».

Лукреций Кар (I в. до н. э.) — римский философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей».

...приказ господина де Лувуа касательно сего предмета... — Де Лувуа
— военный министр французского короля Людовика XIV.

Град (город) (лат.).

Там, как в стране Утопии... — Утопия — фантастическая страна всеобщего равенства и счастья, описанная в книге «Остров Утопия» (1516) английского гуманиста Томаса Мора.

... епископа Сеэского избрали членом Французской академии. — Французская академия, основанная в 1634 г. кардиналом Ришелье (поэтому ниже она называется «дочерью Ришелье»), с самого начала стала прибежищем косности в науке и угодливости перед властями. Постоянные сорок членов Академии получили ироническое прозвание «бессмертных».

На что сетует г-н Дюкло?.. согласно уставу академики равны между собой. — Шарль Дюкло, французский писатель, впоследствии историограф короля Людовика XV, был принят в Академию в 1747 г. (Этот анахронизм вкрался в роман А. Франса при перенесении во второй редакции действия в 20-е годы XVIII в.) Дюкло действительно вел борьбу за признание равенства всех академиков независимо от их сословной принадлежности.

Годо

А, добрый день, Кольте!

Кольте (падая на колени)

Святой отец, простите,

Не следует ли мне припасть к святым стопам.

Годо

Нет, встаньте, милый друг, я разрешаю вам.

Здесь правит Аполлон, мы все пред ним равны.

Кольте

Как можно, монсеньер! Ужель простите вы,

Чтоб с вами я себя осмелился равнять...

Годо

Я не епископ здесь, Кольте, пора вам знать.

Вам следует меня Годо именовать.

Г-н аббат Куаньяр жил при старом режиме. В те времена Французской академии можно было поставить в заслугу, что она установила среди своих членов равенство, коего они не имели в глазах закона. Однако в 1793 году Академия была уничтожена, как последнее прибежище аристократии. (Прим. издателя.)

Король был покровителем Академии. (Прим. издателя.)

Бельзанс — епископ города Марселя, проявивший самоотверженность во время эпидемии чумы 1720–1721 гг.

... новый Рабле или новый Монтень, от которых так и несет простонародьем... — Аббат Куаньяр издевается над деятельностью Академии, которая в своей работе над словарем обедняла французский литературный язык, «очищая» его от красочности и богатства народной речи, широко использованной писателями-гуманистами XVI в. Франсуа Рабле и Мишелем Монтене.

Совершенно достоверно, что Академия осудила этот оборот.

Привычка в нас сильна и часто заставляет
Нас говорить не так, как это подобает.
Так, часто затвердив иное выраженье,
Мы просим дверь закрыть, не чувствуя сомненья:
Но, чтобы в декабре к нам холод не впустить,
Дверь надо затворить, а комнату закрыть.

(Сен — Эвремон, «Академики».)

В то время Академия еще не занималась присуждением премий.
(Прим. издателя.)

... так же легко обойтись без господина Годо или господина Конрара... — Епископ Годо и поэт Валантэн Конрар (первый секретарь Академии) — второстепенные литературные деятели XVII в.

Поднял бедняка из грязи и поставил его рядом со старейшинами, со старейшинами народа своего (лат.)

— Осужденный... за участие в заговоре Монмута... — Монмут, побочный сын английского короля Карла II, после смерти своего отца (1685) и вступления на престол своего дяди Якова II организовал заговор против него и пытался захватить власть, но был разбит и казнен. Говоря о заговоре Монмута, А. Франс намекает на военно-монархический заговор генерала Буланже, разоблаченный в 1888 г.

Я не нашел упоминания о г-не Рокстронге в документах, касающихся заговора Монмута. (Прим. издателя.)

Юлий Цезарь Скалигер (1484–1558) — итальянский филолог и медик, проживший свои последние годы во Франции; отец Жозефа-Жюста Скалигера.

...в битвах ангелов... кои ваш соотечественник Джон Мильтон воспел с такой потрясающей грубостью. — Имеется в виду исполненная революционного пафоса эпическая поэма английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай», в которой изображается восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небесного самодержца.

В то время, когда жил г-н аббат Куаньяр, французы уже почитали себя свободными. Некий г-н д'Алькье писал в 1670 году:

«Три вещи надобны человеку, дабы чувствовать себя счастливым в сей жизни: приятная беседа, изысканные кушанья и полная, совершенная свобода. Мы можем воочию убедиться, сколь отменно наше прославленное королевство удовлетворяет двум первым из этих насущных потребностей; ныне нам остается доказать, что и последняя из трех почитается у нас столь же насущной и мы не менее широко пользуемся свободой, нежели двумя первыми благами. Сие подтверждает и само название нашего государства, и основы, на коих оно было заложено, и нравы, сохранившиеся в нем поныне. Ибо в самом слове «Франция» содержится понятие Вольности и Свободы, что вполне отвечает замыслу основателей нашей державы, кои, обладая душою возвышенной и благородной и не терпя рабства и подчинения, вырвались из тяжкого плена, возжаждав стать свободными, как и подобает человеку; вот почему они и обосновались в Галлии, стране, где обитал столь же воинственный народ, не менее ревниво оберегавший свою вольность: касательно основ мы знаем, что, закладывая новое государство, создатели его прежде всего стремились быть сами себе господами, а потому они издали законы, которые, ограничивая власть правителя, обязывали его свято блюсти их права и привилегии; а ежели кто-нибудь осмеливается посягнуть на эти права, они приходят в ярость и немедля хватаются за оружие, а коли до этого дошло, тут уж их ничем не удержишь. Что же касается нравов, то Франция так влюблена в свободу, что не терпит у себя рабов; а посему ни турок, ни мавров, попавших в нашу страну, — уж не говоря о каком-либо из христианских народов, — никогда не заковывают в цепи и не держат в колодках; а ежели когда и случается, что во Францию привозят рабов, они так и рвутся сойти на берег и, едва ступив на сушу, радостно восклицают: «Да здравствует Франция и любезная ей свобода!» («Приятности Франции...», сочинение Франсуа Савиньена д'Алькье. Амстердам, 1670, in 12°, глава XVI, озаглавленная: «Франция — страна свободы для людей всякого происхождения и звания», стр. 245–246.) (Прим. издателя.)

Клио — муза истории (антич. миф.).

... превращению каждой четы новобрачных в Сарру и Товию... — Товия — герой «Книги Товии», не вошедшей в канонический текст Библии. Товия женился на Сарре, мужей которой демон Асмодей убивал в первую же брачную ночь. Чтобы избежать той же участи, Товия провел первые три ночи со своей новобрачной целомудренно, в молитвах, и тем спасся от смерти.

Джулио Романо (первая половина XVI в.) — итальянский художник и архитектор, ученик Рафаэля.

...более подобало бы питаться в «пританее» на средства благодарного отечества... — В древних Афинах пританея — здание, где заседали дежурные члены афинского совета, занимавшиеся текущими делами. Особо заслуженные граждане пользовались здесь питанием за счет государства.

... раба Митридата... гнусного Тримальхиона... — Имеется в виду эпизод из сатирического романа «Сатирикон» римского писателя I в. Петрония.

Ваш Ульпиан, который умел выражаться точно... — Ульпиан — один из виднейших римских юристов (II–III вв.).

... философом Менардом... афинские судьи, принудившие Сократа выпить цикуту... — Менард Пьер — французский литератор XVII в., адвокат. Древнегреческий философ Сократ (ок. 469–399 до н. э.), как враг афинской демократии, был обвинен в развращении юношей, привлечен к суду и по его приговору выпил кубок яда.

... заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры... — Феодора — супруга византийского императора Юстиниана Великого (VI в.); согласно преданию в юности была бродячей комедианткой и куртизанкой.

.... святого Себастьяна, мятежного воина... отказавшись воевать против багаудов... — По церковной легенде, римский воин Себастьян, начальник преторианцев императора Диоклетиана (III в.), был замучен за тайное исповедание христианства. Багауды — галльские земледельцы, дважды восстававшие в III в. против завоевателей-римлян.

Гряди, творец! (лат.)

.... можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом. — Л'Опиталь Мишель (XVI в.) — президент верховного суда Франции; слыл неподкупным и гуманным. Джеффрис Джордж (XVII в.) — канцлер Англии в период реставрации династии Стюартов; жестоко преследовал бывших участников буржуазной революции.

... некий французский Нума Помпилий повстречает... новую нимфу Эгерю... — Согласно античному преданию второй римский царь Нума Помпилий установил законы, подсказанные ему нимфой Эгерией.